

**ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ**

**ИЗ ЕВРЕЙСКИХ ПОЭТОВ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
З. И. ГРЖЕБИНА  
ПЕТЕРБУРГ — БЕРЛИН**

**1923**





**Манульдрук типографии Шпамера в Лейпциге**

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

ИЗ ЕВРЕЙСКИХ ПОЭТОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
З. И. ГРЖЕБИНА  
ПЕТЕРБУРГ — БЕРЛИН  
1923



## ОТ ПЕРЕВОДЧИКА.

В 1916—1918 г.г., по поручению различных издательств, мне случилось перевести довольно много стихов для так называемых «инородческих» сборников: еврейских, армянских, латышских, финских. Творчество поэтов, пишущих в настоящее время на древне-еврейском языке, оказалось для меня наиболее ценным и близким. Переводам с древне-еврейского я уделил наиболее времени и труда. Они появились в разных альманахах и периодических изданиях. Под общей моей редакцией с Л. Б. Яффе напечатана книга: «Еврейская антология. Сборник молодой еврейской поэзии. Изд-во «Сафрут», М., 1918».

Драгоценные для меня отзывы, которые довелось услышать о моей работе, в печатной, письменной и устной форме, от некоторых авторов и знатоков новой еврейской поэзии, побуждают меня собрать свои переложения в отдельную книгу. Состав ее пестр и случаен, но разные обстоятельства лишают меня надежды в близком будущем заполнить существующие пробелы. Пусть эта книга будет такой, какой ее создало наше тревожное время.

Должен указать, что предлагаемые переложения, по незнанию мной древне-еврейского языка, сделаны не с подлинников, а с буквальных подстрочных переводов, исполненных преимущественно Л. Б. Яффе, которому, сверх того, я обязан признательностью за многие указания и разъяснения. Само собой разумеется, что точность переводов была моей постоянной заботой. Однако, переводя с подстрочника, я все время пользовался латинской транскрипцией еврейского текста. Таким



образом, звуковые особенности подлинников, как то метр, построение строф, характер рифм, число строк и проч. мною сохранены. По возможности я старался передать и особенности инструментовки. Исключение составляют 2 или 3 пьесы, в которых требования, так сказать, русской художественности заставили несколько уклониться от этого правила. Для настоящего издания переводы подвергнуты некоторым исправлениям.

Кроме стих. Шимановича «Последний самарянин», все предлагаемые пьесы впервые появились на русском языке в моем переводе. Стихи Х. Н. Бялика печатаются здесь впервые.

Для русских читателей мною даны краткие примечания. Я намерен был также предпослать каждому автору небольшие сообщения био-библиографического характера, но от этого пришлось отказаться по причине невозможности добыть в настоящее время точные и неустаревшие данные: тому виною отсутствие необходимых изданий, почтовые затруднения и проч. Мне остается надеяться, что когда-нибудь понадобится новое издание этой книги, для которого я смогу получить все нужные сведения и найду возможность сделать ряд новых переводов. Это была бы для меня радостная работа.

*Владислав Ходасевич.*

Бельское Устье  
11 авг 1921 г.



Х. Н. БЯЛИК.

ПРЕДВОДИТЕЛЮ ХОРА.

Мупим и Хупим! В литавры! За дело!  
Миллай и Гиллай! В свирель задувай!  
Скрипка, бойчей, чтоб струна ослабела!  
Слышите, чорт побери? Не плошай!

Ни мяса, ни рыбы, ни булки, ни хлеба...  
Но что нам за дело? Мы пляшем сегодня.  
Есть Бог всемогущий, и синее небо—  
Сильней топчите во имя Господне!  
Весь гнев свой, сердец негасимое пламя,  
В неистовой пляске излейте, страдая,—  
И пляска взовьется, взрокочет громами,  
Грозя всей земле, небеса раздражая.

Мупим и Хупим! В литавры! За дело!  
Миллай и Гиллай! В свирель задувай!  
Скрипка, бойчей, чтоб струна ослабела!  
Слышите, чорт побери? Не плошай!

И нет молока, и вина нет, и меда...  
Но есть еще яд в упоительной чаше.  
Рука да не дрогнет! В кругу хоровода  
Кричите: «За ваше здоровье и наше!»

И пляска резвей закипит, замелькает,—  
Лицом же и голосом смейтесь задорно,  
И враг да не знает, и друг да не знает  
Про то, что в душе вы таите упорно.

Мупим и Хупим! В литавры! За дело!  
Миллай и Гиллай! В свирель задувай!  
Скрипка, бойчей, чтоб струна ослабела!  
Слышите, чорт побери? Не плошай!

Ни брюк, ни сапог, ни рубашки—но смейтесь  
Ведь лишняя тяжесть от лишнего платья!  
Нагие, босые—орлами вы взвейтесь,  
Все выше, все выше, все выше, о братья!  
Промчимся грозой, пролетим ураганом  
Над морем печалей, над жизнью постылой.  
В туфлях, иль без туфель—всем участь одна нам!  
Всем песням и пляскам конец—за могилой!

Мупим и Хупим! В литавры! За дело!  
Миллай и Гиллай! В свирель задувай!  
Скрипка, бойчей, чтоб струна ослабела!  
Слышите, чорт побери? Не плошай!

Ни близких, ни друга, ни брата, ни сына..  
На чье ж ты плечо обопрешься, слабея?  
Одни мы... Сольемся же все воедино,  
Теснее, теснее, теснее, теснее!  
Тесней—чтоб за ногу нога задевала!  
Старик в седилах—с чернокудрою девой..  
Кружись, хоровод, без конца, без начала,  
Налево, направо,—направо, налево.

Мупим и Хупим! В литавры! За дело!  
Миллай и Гиллай! В свирель задувай!  
Скрипка, бойчей, чтоб струна ослабела!  
Слышите, чорт побери? Не плошай!

Ни пяди земли, нет и крова над нами?  
Да много ли толку-то в плаче нестройном?  
Чай, свет-то широк с четырьмя сторонами!  
О, слава Тебе, даровавший покой нам!  
О, слава Тебе, даровавший нам кровлю  
Из синего неба—и солнце свечею  
Повесивший там... Я Тебя славословлю!  
Хвалите же Бога проворной ногою!

Мупим и Хупим! В литавры! За дело!  
Миллай и Гиллай! В свирель задувай!  
Скрипка, бойчей, чтоб струна ослабела!  
Слышите, чорт побери? Не плошай!

Ни судей, ни правды, ни права, ни чести.  
Зачем же молчать? Пусть пророчат немые!  
Пусть ноги кричат, чтоб о гневе и мести  
Узнали под вашей стопой мостовья!  
Пусть пляска безумья и мощи в кровавый  
Костер разгорится—до искристой пены!  
И в бешенстве плясок, и с воплями славы—  
Разбейте же головы ваши о стены!

Мупим и Хупим! В литавры! За дело!  
Миллай и Гиллай! В свирель, чтоб оглохнуть!  
Скрипка, бойчей, чтоб струна ослабела!  
Слышите? Жарьте же так, чтоб издохнуть!



Д. ФРИШМАН.

НОЧЬЮ.

Как одинок я стал с моею тайной,  
С моею мечтой!  
Ужель в свой дар напрасно я поверил,  
О, Боже мой?

Умру я—и никто об этом плакать  
Не будет никогда.  
Из мрака над холмом моим могильным  
Не скатится звезда.

И пара кляч мой гроб с унылым ржаньем  
Неспешно повлечет.  
И в день моих страданий крупный ливень  
С небес польет...

Был человек. Он слишком верил в грезы,  
Которых нет.  
Пройдет лишь день—и жизнь его, и песню  
Забудет свет.

## ДЛЯ МЕССИИ.

### I.

Новый дом у Иордана,  
В нем кузнец—и неустанно  
Он мехами дышет.  
Быстро в пламя дует он;  
Пах-пах, пах-пах!—дует он,—  
Пламя вечно пышет.

И железо, раскаляясь,  
Точно кровью наливаясь,  
С присвистом пылает.  
По железу молот бьет:  
Бум-бум, бум-бум!—молот бьет,  
Тянет и пластает.

Бей, кузнец! Пусть искры блещут,  
Из-под молота—пусть плещут  
Струи огневые!  
Пусть взлетает искра в высь,—  
Фук-фук, фук-фук!—искра в высь,—  
Вслед за ней другие.

Что куешь, кузнец суровый?  
— Превращаю я в подковы  
Полосы тугие.  
Да, в подковы для него,—  
Радость! радость!—для него,  
Для коня Мессии.

## II.

Дом ткача у Иордана.  
Ткач основу непрестанно  
Прочную мотает.  
Веретенцем он стучит,—  
Тук-тук, тук-тук!—он стучит,  
Пряжа прибывает.

Нити вьются из наволя,  
Сочетаясь вдвое, втрое,  
Все ровней, все глаже.  
Ткач проворно бьет по ним,  
Чик-чик, чик-чик!—бьет по ним,  
По бегущей пряже.

А челнок его, играя,  
Быстрой молнией мелькая,  
Ходит, ходит, ходит.  
Взад-вперед и взад-вперед,—  
Паф-паф, паф-паф!—взад-вперед,—  
Мастер глаз не сводит.

Ткач проворный, быстроокий,  
Что готовишь?—Плащ широкий,  
Ризы дорогия.  
Облечется в них он сам,—  
Радость! радость!—сам он, сам,  
Царь царей—Мессия.



### III.

Между смокв у Иордана  
Вышивальщик утром рано  
Вышивает в пальцах.  
По холсту снует игла,—  
Шей, шей, шей!—снует игла  
В изощренных пальцах.

Возле ткани он суконной  
Нашивает шнур виссонный,  
Пурпур горделивый.  
Подобрать умеет он,—  
Так, так, так!—умеет он  
Все в узор красивый.

Там гирлянды запестрили,  
Там букеты белых лилий,  
Пестрые бобы там...  
Все цветы бросает он, —  
Чик-чик-чик!—бросает он  
На холсте расшитом.

Чем ты занят, быстровзорный?  
Я сшиваю в стяг узорный  
Ткани дорогие.  
А под стягом станет он,—  
Радосты! радости!—станет он,  
Царь царей—Мессия.

#### IV.

В вышнем небе херувимы,  
Молчаливы и незримы,  
Труд святой подъяли.  
Перед Господом они—  
Радость! радость!--все они  
Всемером предстали.

Все, что свято и блаженно,  
Непостижно, совершенно,  
Чисто и прекрасно —  
Ими взято нынче все,  
Радость! радость!—взято все,—  
Что светло и ясно.

Сожаленье, состраданье,  
Все безмолвное терзанье  
Херувимы взяли.  
Все, в чем милость и любовь,—  
Радость! радость!—всю любовь  
Вместе сочetaли.

В чем же труд ваш, херувимы?  
— Все запасы припасли мы  
И творим, благие,  
Душу, душу для него,—  
Радость! радость!—для него,  
Для царя-Мессии!

Но беда нам, но беда нам!  
Все давно над Иорданом  
От трудов почили,  
Запоздали только мы,—  
Горе! горе!—только мы  
Труд не довершили.

Видно, мало мы собрали  
Для святой души печали,  
Горняго эфира...  
Видно, взяли мало мы—  
Горе! горе!—мало мы  
Взяли их из мира!

Из того, что в нем блаженно,  
Непостижно, совершенно,  
Чисто и прекрасно,—  
Видно, взяли мы не все—  
Горе, горе нам!—не все,  
Что светло и ясно!..

И подняли херувимы  
Стоны скорби, плач незримый,  
Вопли неземные,—  
И доньше в мире нет—  
Горе! горе!—в мире нет,  
Нет души Мессии.



С. ЧЕРНИХОВСКИЙ.

## ЗАВЕТ АВРААМА.

Идиллия из жизни евреев в Тавриде.

I.

### НА ПУТИ В ЕГИПЕТ.

Реб Элиокум, резник, встает неспешно со стула,  
Все нумера «Гацефиры» <sup>1)</sup> сложил и ладонью разгладил  
Выравниал; ногтем провел по краям. Ему «Гацефира»  
Очень любезна была, и читал он ее со вниманьем.  
Кончив работу,—листы аккуратно сложив и расправив,—  
Встал он на стул деревянный, на шкаф положил газету,  
Слез, подошел к окну и выглянул. Реб Элиокум  
Думал, что надо уже отправляться к вечерней молитве,  
В дсм, где сходилась молиться вся община их небольшая.  
Двор ие окна созерцал он с безмолвием мудрым—и видел  
Куры его поспешают к насести, под самую крышу,  
Скачут по лестнице шаткой, приставленной к ветхому хлеву.  
Медленно движутся птицы... Посмотрит наседка—и прыгнет  
Вверх на ступеньку; потом назад обернется и снова  
Смотрит, как будто не знает: карабкаться—или не стоит?  
Только петух молодчина меж ними: хозяйский любимец.  
Гребень—багряный, борода—такая ж; дороден, осанист;  
Ходит большими шагами, грудь округляя степенно;  
Длинные перья, качаясь, золотом блещут турецким.  
Вот уж запел было он, но тотчас запнулся, внезапно  
Песню свою оборвал и, вытянув шею, пустился,  
Крылья широко раскинув, бежать; тут реб Элиокум



Тотчас узнать пожелал причину такого поступка.  
Вскоре услышал он свист кнута, колес громыханье,  
Пару коней увидал,—а за ними вкатилась повозка.  
Лошади стали; с повозки высокий спрыгнул крестьянин,  
Крепкий, здоровый старик, распряг лошадей и в корыте  
Корму для них приготовил, с овсом ячмень размешавши.  
Реб Элиокум на голя взглянул с молчаливым вопросом.  
Сразу по шапке узнал он, что гость—из села Билибирки.  
(Так испокон веков зовется село: Билибирка,—  
Только евреи его прозвали Малым Египтом).  
Мудрый и щедрый Создатель (слава Ему во веки!),  
Тварей живых сотворив, увидел, что некогда могут  
Разных пород созданья смешаться между собою.  
Дал им Господь посему отличия: гриву, копыта,  
Зубы, рога. Ослу—прямые и длинные уши,  
Ящеру—тонкий хвост, а щуке—пестрый рисунок.  
Буйволу дал Он рога, петуху—колючие шпоры,  
Бороду дал Он козлу, а шапку—сынам Билибирки.  
Шапка по виду горшку подобна, но только повыше.  
Росту же в шапке—семь пядей; кто важен—с мизинец прибавит.  
Можно подробно весьма описать, как делают шапку:  
Видя, что шапка нужна, идет крестьянин в овчарню;  
Там годовалый ягненок, курчавый (черный иль рыжий)  
Взоры его привлекает; зарежет крестьянин ягненка;  
Мясо он сварит в горшке и с семьею скушает в супе;  
Есть и такие, что жарят ягнят, поедая их с кашей;  
Шкурку ж отдаст крестьянин кожевнику для обработки.  
В праздник, в базарный день, в Михайловку съездит крестьянин,  
В лавочку Шраги зайдет, посидит, часок поболтает,  
К Шлемке заглянет потом—и к Шраге назад возвратится;  
После отправится к Берлу; сторгуются; Берл за полтинник  
Шапку сошьет мужику, но с цены ни копейки не скинет:  
Ибо цена навсегда установлена прочно и свято.  
Едет ли он в Орехов, заглянет ли он в Севастополь,—  
Жителя этой деревни всякий по шапке узнает.  
Ежели кто повстречает жителя сей Билибирки,



Скажет ему непременно:—Здорово, продай-ка мне шапку!—  
Гостя по шапке узнал, конечно, и реб Элиокум.  
Только не знал он того, зачем приехал крестьянин.  
Стал он тогда размышлять:—Э, видно, там, в Билибирке,  
Важное что-то случилось,—а я ничего и не слышал.—  
Так-то вот думает он, а мужик уж стоит на пороге,  
Шапку стащил с головы, озирается, ищет икону.  
— Здравствуй! Резник-то который? не ты ли? А я билибиркский.  
Пейсах меня прислал. Родила ему Мирка сынишку.  
Завтра его ты обрежешь, а вот письмо; получай-ка.—  
— Ладно,—ответил резник,—помолюсь—а там и поедем.  
Ты же меня с часок подожди. А покуда и кони  
Пусть огадохнут.—Сказал, поднялся, взял палку и вышел.  
Улицей тихо идет он, сверкая гвоздями подметок.  
Реб Элиокум могель <sup>2)</sup> известный в целой округе,  
Даже из дальних селений за ним присылают не редко.  
Слава его велика.—Через полчаса из дому снова  
Реб Элиокум выходит в пальто и в шарфе пуховом,  
Теплом, большом. Ибо Элька, жена его, так говорила,  
Мужа в сенях провожая:—Возьми, обвяжи себе шею;  
День хоть не очень холодный, а все-таки лучше беречься.  
Что тебе стоит? возьми! Жалеть наверно не будешь.—  
Реб Элиокум неспешно дошел до повозки мужицкой,  
Смотрит—а в ней, как ягнята, его же три дочки уселись:  
Сорка, да Двейрка, да Чарна. А где же сынишка? Да вот он,  
Ишь, на руках-то у гоя, который приехал в повозке.  
Хочет мужик и его посадить с сестренками рядом.  
Так и сияют оба: и гои заезжий, и Хона.  
(Мальчика Хоной называли в память братишки, который  
Умер давно от холеры; но гои, понятно, Кондратом  
Хону придумали звать, при этом они говорили:  
Ежели Годл—Данило, то Хона—Кондрат несомненно.)  
Так и сияет мальчишка; накушался вдоволь он вишен,  
Зубы от сока синеют, пятно на кончике носа,  
Выпачкан весь подбородок... Настала для Хоны забава.  
Ножками дрыгает он на руках у гоя Михайлы.



Любит Михайла полчас пошутить с детворою сврейской:  
— Ну-тка я вас, жиденят!—и кнутом замахнулся притворно.  
Громко тогда закричали и Сорка, и Двейрка, и Чарна;  
Хона однако не воскрикнул, не тронулся с места, а поднял  
Сам кулачок свой на гою, готовый ринуться в битву.  
Молча Михайло стоял на месте, весьма удивленный,  
После того покачал головой и промолвил негромко:  
— Плохо, когда жиденята—и те бунтовать начинают!  
— Он у меня герой, —отвечал Элиокум с улыбкой:  
— Брось-ка его да ребят покатай в повозке немного.—  
С криками снова уселись и Сорка, и Двейрка, и Чарна.  
Хона за ними в повозку—и тронулись лошади с места.  
— Ну, Элиокум, прощай,—сказала жена, —«До свиданья.  
Хону вы мне берегите! Ты, Сорка, за брата ответишь!»  
Дети еще не вернулись. Но вот закричал Элиокум:  
— Будет! Пора и домой! Возвращайтесь!—Не очень охотно  
Девочки слезли с повозки,—но все-же отцу не переча.  
Хона один уперся, вцепился он крепко в Михайлу,  
Рот широко раскрыл и отчаянно дрыгал ногами.  
Голько ни ноги, ни рот не слишком емугодились:  
Отдал приказ Элиокум—и мальчик был спущен на землю.  
Чарна и Двейрка, его подхвативши, бежали проворно  
К дому. Назад озираясь, вися на руках у сестренок,  
С ними и Хона бежал, крича и мыча, как теленок.  
Ноги его поджаты; хвостиком край рубашенки  
Сзади торчит из прорехи, застегнутой слишком небрежно.  
Хона кому был подобен в эту минуту? Ягненку,  
В поле бредущему следом за маткой. Пастух выгоняет  
Мелкий свой скот за ним, отставая, с протяжным блеяньем,  
Скачут ягнята в догонку, и хвостики их презабавно  
Сзади по голням бьются...

А лошади мчатся и мчатся,  
Вот уж село миновали и по полю чистому едут;  
Вот —и с пригорка спустились; из глаз сокрылась деревня;  
Мельница только видна на холме; раскинувши крылья,  
Точно гигантские руки, привет она шлет им прощальный.



Вот уж просторы полей окружили путников наших,—  
Вольная ширь кругом простерта в покое великом.

Скорби глубокой и тихой дух витает над степью:  
Песня извечной печали, бездонной, безмолвной и горькой,  
Повесть минувших событий—и темные тайны грядущих,  
Будущих дней,.. И невольно тогда на уста человеку  
Грустная песня приходит, и сердца тайник непостижный  
Полнит собой, и печалит, и мир омрачает, как облак.  
Сердце тогда защежит, а в глазах скопляются слезы.  
Славой овеяна степь, и в сказаньях о давних народах,  
Там, в отдаленных веках, на границе преданья и правды,  
Древнее имя ее окутано облаком тайны.  
Персы со скифами здесь воевали; здесь кочевали  
Половцев дикие толпы, потом племена печенегов;  
Кровь татарвы и казаков здесь проливалась обильно.  
Кончены те времена, когда от границы Буджака  
Вплоть до Каспийского моря ширилось море другое—  
Море сверкающих трав, благовоньем богатых. Бывало—  
Хищное племя шатры разбивало у рек многоводных,  
Диких коней усмиряло в степных неоглядных просторах..  
Только могилы остались донныне: большие курганы.  
Молча и грустно с курганов глядят изваянья; загадки  
Замкнуты в камне холодном. Весны беззаботной потоки  
Начисто смыли следы удалых наездников скифов;  
Память о половцах диких развеяли ветры по степи;  
Сечь навсегда затихла; в бахчисарайской долине  
Смокли тимпаны и бубны; пространства степей необъятных  
Блещут под влагой росы в золотых одеяньях пшеницы.

Прошлое дремлет в, гигантских ему иссеченных могилах.  
Только в печальные ночи, когда облака торопливо  
Мчатся, сшибаясь, по небу, да туч блуждают обрывки,  
Лунный же лик багровеет и падает, медью сверкая,—  
Мнится: былые поверья опять облакаются плотью,  
Вновь пробуждаются к жизни. Встают из курганов гиганты,



Снова взирают на землю их удивленные очи.  
Голосом трав шелестящих они повествуют о прошлом...  
Слушают путники шопот, и пристально смотрят, и видят  
Неба нахмуренный свод, суровые, темные тучи,  
Дали, немые как тайна судеб,—и невольно их сердце  
Смутной сжимается болью. И крадется в сердце желанье  
Бодро вскочить на коня, в бока его шпоры вонзивши,  
Мчаться степным бездорожьем, все дальше, туда, где с землею  
Сходятся тучи ночные. И хочется путнику громко  
Крикнуть, чтоб голос его разнесся от моря до моря,  
Хочется воздух пустыни наполнить возгласом диким,  
Чтобы спугнуть лебедей, чтоб услышали волки в оврагах,  
Чтобы верье из нор откликнулось воем далеким,  
Чтобы утешилось сердце хоть слабым признаком жизни...  
Тихо тогда запеваёт Михайло, и песня простая,  
Грустью рожденная песня сердца печаль выражает.  
Прост и уныл напев, однозвучный, тягучий, нехитрый.  
Так над морским побережьем, так у днепровских порогов  
Чайки безрадостно кличут: за возгласом—возглас протяжный,  
Отзвук безрадостной доли, отзвук печали и плача.  
Так и Михайло поет; Элиокуму в самое сердце  
Скорбный напев западает. Внятны в песне мужицкой  
Сердца горячего слезы; ищет выхода сердце  
Силам, скопившимся в нем неприметно, подспудно и праздно.  
В песне унылой излить их—вот облегченье для сердца.  
Песню казацкую пел Михайло. Внимал Элиокум;  
Мир непонятный и чуждый являлся душе его мирной:  
Пламя, убийства и кровь... И в даль смотрел он душою,  
В смену былых поколений, тех, что когда-то мелькнули  
В знойных степях—и исчезли... И вспомнил хазар Элиокум,  
Вспомнил потом Иудею, мужей могучих и грозных,  
Вспомнил о диких конях, о панцырях, копьях и пиках...  
Чуждо ему это все—но сердце сжалось невольно...  
Снова мерещатся луки, и пики, и ядра баллисты,  
Только уж лица другие. Те лица узнал Элиокум.  
Ава девятый день!.. <sup>3)</sup> И больнее сжимается сердце.

Блещут мечи и щиты... И стал размышлять Элиокум:  
Если бы сам он был там,—то стал ли бы он защищаться?  
Долго он думал об этом—и вдруг нечаянно вспомнил  
Хону, поднявшего свой кулачок на Михайлу. И снова  
Сам Элиоку себя спросил: «Во младенчестве нежном  
Так ли бы я ответил Михайле, как Хона ответил?  
Вижу я—новый повеял ветер во стане евреев,  
Новое ныне встает на нашей земле поколение.  
Вот завелись колонисты, Сион... 4) Что ни день, то в газетах  
Пишут о лекциях, банках, конгрессах...» И реб Элиокум  
В сердце своем ощущает и радость, и страх, и надежду:  
В мире великое что-то творится: дело святое,  
Милое сердцу его—и новое, новое! Страшно  
Дней наступающих этих! Кто ведает, что в них таится?..  
Странно все это весьма, гадать о будущем трудно..  
Ахад-Гаам, «молодые» 5)—все странно, прекрасно и ново..  
Старое? Старое—вот: уж готово склониться пред новым.  
Скоро исчезнет оно... Подрыты его основанья,  
Ширятся трещины, щели,—падение прошлого блиеко..  
Только по виду все так же, как было в минувшие годы.  
Так и со льдами бывает весною. Выглянет солнце,  
Всюду проникнут лучи: по виду лед все такой же;  
Только—ступи на него: растает, и нет его больше.  
Радо грядущему сердце—но все-же и прошлого жалко..  
Лошади вдруг подхватили, помчались резвее. Михайло  
Песню свою оборвал. Грохочут колеса повозки,  
Весело оси скрипят,—и вот уж дома Билибирки.  
Вот уж глядят огоньки из мелеьких, узких окошек,  
Путникам так и мигают их дружелюбные глазки.  
С лаем по улице грязной бегут отовсюду собаки,  
Полня весельем и гамом вечерний темнеющий воздух.



## II.

### ОБРЕЗАНИЕ.

Вот имена сынов Билибирки, что жили в «Египте».  
С женами все собрались и сели на месте почетном:  
Берелэ Донс и Шмуль Буц; Берл Большой и Берл Малый;  
Года Палант, Залман Дойв и Шмерл, меламед литовский;  
Ривлин, из Лодзи агент; Александр Матвейч Шлимазлин;  
Иоскин, тамошний фельдшер; Матисья Сэмен, аптекарь;  
Хаим брев Сендер, раввин, толстопузый, почтенный, плечистый  
Родом он сам билибиркский, и им Билибирка гордится.  
«Нашего стада телец!» — о нем говорят, похваляясь.  
С ними сидит и реб Лейб, резник и кантор <sup>б)</sup> в «Египте».  
Худ он как щепка, и мал, и хром на правую ногу.  
Тут же и Лейзер, служка. И к ним присоседился прочно  
Рабби Азриэль Моронт, с большой бородою, весь красный.  
Лет три десятка служил он в солдатах царю Николаю  
Первому — и устоял в испытаньях тяжелых и многих.  
Ныне же к Торе вернулся, — к служению Господу Богу.  
Эти четыре лица: реб Лейб, Азриэль и Лейзер,  
Также реб Хаим, раввин, — весьма почитаемы всеми;  
Длинные одежды у них, и слово их в общине веско,  
Ибо из них состоит билибиркское все духовенство.  
Были два гостя еще, но иже гораздо значеньем:  
Некий Хведир Паско и с ним сумасшедшая Хивря.  
Хведир — высокий, худой, и нос его башне Ливана,  
Красным огнем озаренной, подобен; от выпитой браги  
Красны глаза его также. Но нравом он скромн и смирен.  
Он охраняет евреев жилища. В квартале еврейском

Улицей грязной и топкой ходит с собаками Хведир. Сырка, Зузулька, Кадушка и Дамка зовутся собаки. К Пейсаху Сырка пришла, а прочие дома остались. Сырка уселась в углу и, глаз прищуривши, ловит Мух. облепивших ее в бою пострадавшее ухо. Сидя с приветливой мордой, хвостом она тихо виляла. Кроме того, что он сторож, Паско был и «гоем субботним»: Ставил он всем самовары и лампы гасил по субботам. Печи, случалось, топил и строил навесы для Кущей. Впрочем, не реже его топила печи и Хивря. Также ходила она за водой и за то получала По две копейки. Когда же случалось, что баня топилась, Хивря по улице шла и махала веником, с криком: «В баню ступайте, евреи! Скорей, немытые, в баню!» Хведир и Хивря сегодня столкнулись за трапезой общей: Запах вина их привлек на пиршество к Пейсаху нынче...

Шумной, веселой гурьбою, смеясь, беседа, споря, Званные гости вошли в большую, красивую залу, В светлый, высокий покой, где в сад выходили все окна. С садом фруктовом свой дом от отца унаследовал Пейсах. Мелом был выбелен зал; в потолок был вделан прекрасный Круг из затейливой лепки, в центре же круга висела Лампа на толстом крюке. По стенам красовались портреты Монтефиоре и Гирша <sup>7)</sup> и многих ученых раввинов. Венские стулья стояли у длинных столов, но садиться Гости еще не спешили. Один собеседник другого Крепко за лацкан держал,—и громко все говорили. Хаим, раввин, наконец, спросил хозяина пира: «Ну, не пора ли, реб Пейсах?» «Ну, ну!» ответствовал Пейсах: Сандоку <sup>8)</sup> стул поскорее—И стул принесен был слугою. Весь озарился в тот миг Азриэль веселием духа. Гордо взирал он вокруг, с величием кесарей древних; Розовы щеки его, как у сильного юноши; кудри, Слившись с большой бородой, сединою серебряной блещут, Белой волною струясь по одежде, по выпуклой груди;



Седы и брови его, густые, широкие; ими,  
Точно изогнутым луком, лоб белоснежный очерчен.  
Видом своим величавым взоры гостей услаждал он.  
Сидя на стуле, он ждал, чтоб кватэр <sup>9)</sup> явился с ребенком.  
Молча смотрел он на дверь в соседний покой, где сидели  
Женщины: там находилась роженица с новорожденным.

Вот отворяется тихо дверь, и в комнату вхсдит  
Чудная девушка; лет ей шестнадцать, не более. Это—  
Пейсаха старшая дочь,—она же кватэрин нынче.  
Стройно она сложена, но вся еще блешет рососою  
Детства: покатые плечи созрели прелестно, округло,  
Шея же слишком тонка, и локти младеьчески остры;  
Плавно рисуются две сестрицы-волны под одеждой;  
Черные косы ее, заплетенные гуго, сверкают,  
Словно тяжелые змеи, до самой ступни ниспадая.  
Девушка эта прелестна! И вот что всего в ней прелестней:  
Кажется, девочка в ней со взрослою женщиной спогят;  
То побеждает одна, то другая. Дубку молодому  
Также подобна она: дубок и строен, и тонок,—  
Все-же грядущую силу предугадать в нем не трудно.  
В серых, огромных глазах у девушки искрится радость,  
Черны и длинны ресницы, которыми глаз оторочен.  
Если же взглянет она, то взор ее в сердце проникнет,  
Светлым и тихим весельем все сердце пленяя и полня...  
Руки простерты ее. На руках, в одеяле, младенец.  
Тихо ступает она, слегка назад откачнувшись:  
Новорожденного брата, как видно, держать не легко ей.  
Вот на мгновенье стыдливым румянцем вспыхнули щеки,  
Тотчас, однако, лицо по-прежнему стало, спокойно.  
Верно, взглянула она, как кватэр идет ей навстречу.  
Таинство светом своим лицо ее озарило.  
«Словно Шехина <sup>10)</sup> почиет на ней! Смотрите! Смотрите!»—  
Берелэ Донс воскликнул. Другие смущенно молчали:  
Как бы ее он не сглазил!—Тут кватэр, взявши ребенка,  
Рабби Азриэлю подал. Мальчик рослый и крепкий,

Розово тело его как цвет распустившейся розы,  
Тихо лежит он на белой, вымытой чисто простынке...  
Осенью позднею солнце является так же порою:  
Клонится к вечеру день; снега над полями синеют;  
Падает солнце все ниже—и краем касается снега..  
Все приглашенные тесно столпились возле младенца.  
Было на лицах тогда ожиданье и святости ответ,—  
Благоговейная тишь воцарилась у Пейсаха в доме.



### III.

#### П И Р.

К матери в спальню ребенок был отнесен торопливо.  
Голос его раздавался по дому. «Клянусь вам, мальчишка  
Умница будет: обиду снести он безмолвно не хочет.  
И справедливо: ведь сразу всех собственных прав он лишился».  
Так прошептал Шмуэль-Буцу Матисья Сэмен, аптекарь.  
К шумной и быстрой беседе опять возвращаются гости;  
Снова наполнилась зала говором, спорами, гулом.  
Вот, меж гостей пробираясь, и женщины в залу выходят:  
Это родня и подруги счастливой роженицы Мирьям.  
Вот на столы постелили чистые скатерти; вскоре  
С ясным, играющим звоном явились графины и рюмки;  
Стройными стали рядами они на столах; по соседству  
Выросли целые горы: в корзинах, в серебряных чашах  
Вдоволь наложено хлеба, сладостей, орехов, оладей.  
Все ощутили тогда в сердцах восхищенье. А Пейсах  
Речь свою начал к гостям, говоря им с любезным приветом:  
«Мойте, друзья мои, руки и к трапезе ближе садитесь.  
Сердце свое укрепите всем, что дал мне Создатель.  
Вот полотенце, кувшин же с водою в сенях вы найдете.»  
Так он сказал, и гостям слова его были приятны.  
Все окружили кувшин и руки с молитвою мыли.  
В залу вернулись потом обратно, и сели, и ждали.  
Благословил, наконец, раввин приступить к монопольке,  
С медом оладью он взял, преломил,—и примеру благому  
Прочие все подражали охотно, что очень понятно,  
Ибо не ели с утра и голодны были изрядно.  
Весело гости кричали: «Твое, реб Пейсах, здоровье!  
Многая лета еще живи на благо и радость!»  
Пейсах ответил: «Аминь, да будет по вашему слову.



Благословенье Господне над всем Израилем!» Вскоре  
Пусты уж были корзины и чаши. Но тотчас на смену  
Целая рать прибыла тарелок, наполненных щедро  
Рубленной птичьей печенкой, зажаренной в сале гусином.  
Во-время повар печенку вынул из печи и в меру  
Перцу и соли прибавил, сдобривши жареным луком:  
Сочная очень печенка, и видом подобна топазу.  
Разом затих разговор; жернова не праздно лежали;  
Только и слышались звуки ножей да вилок. Но вот уж—  
Время явиться салату, что жиром куриным приправлен;  
В нем же—изрубленный мелко лук и чеснок ароматный.  
Небу салат был угоден: ни крошки его не осталось.  
Тут-то гигантское блюдо внесли с фаршированной рыбой:  
Окунь янтарный на нем, и огромная щука, а также  
Мелкая всякая рыба, нежная вкусом; иная  
Сварена с разной начинкой, иная зажарена в масле,  
И золотистые капли росой сверкают на спинах.  
Перцем приправлена рыба, изюмом, и редькой, и луком.  
Славится Ми ьям своей фаршированной рыбой,—а нынче  
Варка особенно ей удалась,—и счастлива Мирьям.  
Рыбешка тает во рту и сама собою так нежно  
В горло скользит, а на вкус—приятней сыченого меда.  
К рыбе явились на стол, пирующих радуя взоры,  
Старые крымские вина и пара бутылок «Кармела»<sup>11)</sup>:  
Им угощали раввина, потом и других приглашенных.  
Все похвалили его. Когда же насытились гости,  
Снова вернулись они к беседам, и шуткам, и спорам.  
Шел разговор о ценах на хлеб, о плохом урожае.  
Шум возрастал, ибо каждый в Израиле высказать может  
Слово свое. О болезни Виктории спорили много,  
Об иностранных делах; добрались наконец до наследства  
Ротшильда; вспомнили Гирша и с ним колонистов несчастных.<sup>12)</sup>  
Шмерл, меламед, тогда возвысил громкий свой голос.  
(Родом он был из Литвы, но вольного духа набрался,  
Светския книги читая). Он начал: «Вниманье! Вниманье!  
Слушайте, что вам расскажет меламед!» И тут описал он



Злую судьбу колонистов, их бедствия, скорби, печали,  
Все притеснения, и голод, и горечь нужды безысходной.  
«Тверды однако ж они во всех испытаниях были.  
Взоры они обращают к Израилю: братья, на помощь!  
Красное это вино—не кровь ли тех колонистов?—  
Кровь, что они проливают на милых полях Палестины.  
Взыщется кровь их на вас, когда не придете на помощь!  
Братья, спешите на помощь! Спасайте дело святое!  
Есть поговорка у гоев отличная: с мкру по нитке—  
Голому выйдет рубаха!»—Таковыми словами он кончил.  
Бледно лицо его было, глаза же сверкали. Все гости  
Молча внимали ему, головами качая... Платками  
Женщины терли глаза. Умолк меламед—и тотчас  
Между гостями пошла в круговую тарелка для сбора.  
Звякали громко монеты в высокой Пейсаха зале,  
И тяжелела тарелка все более с каждым мгновеньем,  
И веселей становилось собрание: ведь каждое сердце  
Ближнему радо помочь. Ученый меламед от счастья  
Потный и красный сидел... Бородку свою небольшую  
Шебселэ молча щипал. (Из Польши он прибыл недавно;  
«Коршуном польским» у нас прозвали его, как обычно  
Каждый зовется поляк, когда не зовут его просто  
«Вором»). Но вот наконец произнес он: «Конечно, конечно,  
Шмерл—человек настоящий. Одна беда—из Литвы он.  
Что они там за евреи? На выкрестов больше похожи».  
Слово такое услышав, гости взглянули на Шмерла:  
Что он ответит? Мужчина ведь умный, к тому же меламед.  
Шмерл же в ответ закрывает глаза и сам вопрошает:  
«Шебселэ! Праотец наш, Авраам, не также ли был он  
Родом литвак?»—«Авраам? Да постой: из чего ж это видно?»  
«Вот из его: *и воззвал к Аврааму он шейнис*. А если б  
Был Авраам не литвак, то *шейндлс* воскикнул бы ангел». <sup>13)</sup>  
Шутка понравилась всем пировавшим, и много смеялись  
Гости, и так говорили, меламеда мудростью тешась:  
«Шебселэ, что ж ты молчишь? Отвечай меламеду. Что ж ты?»  
Шебселэ им отвечает: «Пфе! Не стоит ответа».



Только одно мне неясно, понять одного не могу я:  
Как это каждый литвак два имени носит? А если  
Нет у него двух имен, то тфилин наверно две пары,  
Или в Литве он оставил двух жен, не давая развода»<sup>14)</sup>.  
Шутка понравилась всем пировавшим, и много смеялись  
Гости, весьма забавляясь словами Шебселэ. Только  
Шмерл побледнел чрезвычайно: грешки свои он припомянул.  
Все-же он гнев поборол и Шебселэ вот что ответил:  
«Шебселэ, слушай и вникни. Понятно тебе, вероятно,  
Слово легенды пасхальной: <sup>15)</sup> зачем Господь Вседержитель  
Ангела смерти убил? Ведь ангел-то прав был,—не так ли?  
Ну-ка, подумай над этим!» Собрание воскликнуло хором:  
«Ангел, конечно, был прав! Что хочешь сказать ты, меламед?  
«Вот что», ответствует Шмерл—и речь свою так продолжает:  
«Прав был, конечно, и Бог, но во всем виновата собака:  
Дескать, она-то права,—но кто ее просит, собаку,  
Суд свой высказывать? Ей ли дано это право?»—Тут гости  
Смеха сдержать не могли. А Шебселэ то покраснеет,  
То побелеет... Ответить обидчику хочет.. Но смотрит,—  
Вот уж стоит перед ним тарелка вкусного супа.  
Плавают в супе лепешки с горячей начинкой. Бульон же  
Золотом так и сверкает расплавленным, жидким,—а солнце  
Луч свой дробит в пузырьках, и жирные блестки сверкают  
Желтым и синим огнем. Совсем уж раскрыл-было рот свой.  
Шебселэ, чтобы ответить,—но тут почел он за благо  
Парой лепешек его набить, лепешки смочивши  
Ложкой бульона. И спор, начавший уже разгораться,  
Сам оборвался внезапно. А гости сидят и вкушают  
Суп, а за супом жаркое: кур, откормленных уток,  
Сладкие крымские вина,—и шутят, и громко смеются.

Солнце уже опустилось, как сел Элиокум в повозку.  
Тронулись лошади шагом; теперь уж они не спешили,  
Ибо от выпитых вин ослабли Михайловы руки.  
Кони брели напрямик, без дороги, по степи широкой,—  
И Элиокум на кочках тяжелой кивал головою.



## В ЗНОЙНЫЙ ДЕНЬ.

ИДИЛЛИЯ.

Гамуза <sup>1)</sup> солнце средь неба недвижно стоит, изливая  
Света и блеска поток на поля и сады Украины.  
Море огня разлилось—и отблески, отсветы, искры  
Перебегают вокруг улыбочиво, быстро, воздушно.  
Вот—засияли на маке, на крылышках бабочки пестрой...  
Там комары заплясали над зеркалом лужицы. С ними  
В солнечном блеске танцует стрекоз веселое племя.  
В зелень густую листвы и в черные борозды поля—  
Всюду проникли лучи; вон там проскользнули по струйке,  
Что с лепетаньем проворным бежит по земле золотистой.  
Луч ни один не вернулся туда, откуда пришел он,  
И ни за что не вернется. Так шаловливые дети  
Мчатся от матери прочь—и прячутся; их не сыщешь.  
Поле впитало в себя осколки разбрызганных светов,  
Бережно спрятало их в плодоносное, теплое лоно.  
Завязи, почки, побеги впитали их в клеточки жадно,  
После ж, когда миновала пора изумрудная листьев,  
Поле и нива наружу извергли хранимые светы;  
Луч поднялся из земли, и зернами сделались искры,—  
Зернами ржи усатой, налившейся грузно пшеницы  
И ячменя. И всплеснулось золото нижнее к небу,  
С золотом верхним слилось,—и со светами встретились светы.  
Зной превратился в удушье. Уж нет ни души на базарах,  
Улицы все в деревнях опустели, и солнце нё властно

Там лишь, где сыщется угол, сокрытый от этой напасти  
Ставнем иль выступом крыши...

И угол такой отыскался.  
Есть на деревне тюрьма. Она ж—волостное правление.  
Ежели к ней подойдете вы с северо-запада—тут-то,  
Возле тюремной стены, и будет укромный сей угол.  
Трое в полуденный час собрались у стены благодатной.  
Первый был Мойше-Арон, что Жареным прозван в деревне.  
Случай с ним вышел такой, что дом у него загорелся  
В самый тот час, как поспать прилег он на крышу Спастись-то  
Спасся, конечно, он сам, но обжегся порядком... Все лето  
Занят своей он работой, работа ж его—по малярной  
Части. А в зимнее время он дома сидит, голодая...  
Кто ж были двое других, сидевших с Мойшей у стенки?  
Васька-шатун, конокрад, и Иохим—волостного правления,  
То-бишь тюрьмы, охранитель и страж. (В просторечьи кутузкой  
Эту тюрьму мужики называют). А должность такую  
Занял Иохим потому, что был хром. А хромым он вернулся  
После кампании крымской...

Зачем же судьба их столкнула  
Здесь, у стены? А затем, что давно старики замечали:  
Ставни в кутузке совсем прогнили от долгой работы.  
Ну, заявили на сходе, что надо бы дело обдумать:  
Может, давно уж пора еврея позвать да покрасить?  
Спорили долго; но сходу выставил Жареный водки—  
И порешили все дело, с Мойшей подряд заключивши.  
Вот и стоял он теперь и ставень за ставнем, потея,  
Красил, цестрил, расцвечал. Мазнет, попыхтит—да и дальше.  
Мойше был мастер известный: уж если за что он возьмется,  
Плохо не сделает, нет, и в грязь лицом не ударит.  
Ловко покрасил он ставни: медянкой разделал, медянкой!  
Доски с обеих сторон покрасил, внутри и снаружи.  
В центре же каждой доски он сделал по красному кругу:  
Сурику, сурику брал! Себе в убыток, ей-Богу!  
И расходились от центра лучи, расширяясь кнаружи:  
Желтый, и синий, и желтый, и синий опять—и так дальше.



В круге ж чудесный цветок малевал он; уж право—такого  
Просто нигде не сыскать: три чашечки тут распускались  
Из белоснежного стебля, а в чашечке—вроде решетки—  
Клеточки красные шли в перемежку с желтыми. Чудо!  
Право, бессильны уста, чтоб выразить все восхищенье!  
Видели их мужики—и стояли, и диву давались,  
И головами качали: «Ну—Жареный! Ну— и работа!»  
Но не закончил еще маляр многотрудной работы.  
Гои же рядом сидели, для крыс капкан мастерили.  
(Крысы под самой кутузкой огромным жили селеньем,  
Днем выбегали наружу и под ноги людям кидались,  
Всех повергая в смущенье, а женщин так даже и в ужас).  
Васька с Иохимом сидел, в работе ему помогая:  
В этакий зной не до правил,—так вышел и он из кутузки,  
Чтобы в приятной прохладе беседою сердце потешить.  
Вот и рассказывал он про то, как грех приключился,  
Как он в кутузку попал за веревку, найденную в поле.  
(Пусть уж простит меня Васька: забыл он, что к этой веревке  
Конь был привязан тогда, и конь чужой, а не Васькин).  
«Так-то вот, все за веревку», печалился Васька. И был он  
Пойман, и к долгой отсидке начальство его присудило.  
Заняты делом своим, собеседники мирно сидели.  
Клетку из прутьев железных Иохим устроил; внутри же  
Прочный приделал крючок для того, чтобы вешать приманку.  
Вдруг услышали они на улице легкую поступь.  
Тамуза солнце, пылая, стояло оредь синегс неба,  
Рынок давно опустел, и улицы были безлюдны.  
Кто бы, казалось, тут мог проходить в неурочное время?  
Головы все повернули, идущего видеть желая.  
Васька, замолкнувши разом, прищурил пронырливый глаз свой,  
Мойше-Арон неспешно в ведерко кисть опускает,  
Медленно сторож Иохим капканчик поставил на землю,  
Бороду важно разгладил, откашлялся—и вытирает  
Черную, потную шею... И все удивились немало,  
Старого Симху завидев. Согбенный, с обвязанной шеей,  
Спрятавши обе руки в рукава атласной капоты,



Книгу под мышкой зажав, торопливою, легкой походкой Симха идет. Увидал их старик, улыбнулся, подходит: Вот—поклонился он всем и беседует с Мойшей-Ароном. «Ближе, реб<sup>2)</sup> Симха,—прошу. Что значит такая прогулка? Маане-лошон<sup>3)</sup>, я вижу «под мышкой у вас».—«Я от сына. Велвелэ, сын мой, скончался».—«Господа суд справедливый Благословен!.. Но когда ж? Ничего я про это не слышал».— Горестно Симха вздохнул и речь свою так начинает: — Дети мои, слава Богу, как все во Израиле дети: Все, как ты знаешь, реб<sup>1)</sup> Мойше, и Богу, и людям угодны: Умные головы очень, ну прямо разумники вышли. Выростить их, воспитать—немало мне было заботы, Ну, а как на ноги стали—каждый своею дорогой Все разбрелись. И заботу о них я труднейшей заботой В жизни считал. Ведь всегда человек, размышляя о жизни, Преувеличить готов одно, приуменьшить другое. Так-то вот выросли дети, и нужно признаться — удачно: Во-время каждый родился, и во-время резались зубки, Во-время ползали все, потом ходить научились, Глядь—уж и хедеру<sup>4)</sup> время, и все—по велению Божью: Брат перед братом ни в чем не имел отличия. В зыбку Нынче ложился один, а чрез год иль немного поболее Место свое уступал он другому, рожденному мною Также для участи доброй. Но Велвелэ, младший, родился Поздно, когда уж детей я больше иметь и не думал. Был он поскребыш, и трудно далась его матери роды. Братьев крупнее он был, и когда на свет появился, Радость мой дом озарила, ибо заполнился миньян<sup>5)</sup>. Был он немного крикун, да таков уж детишек обычай. Только что стал он ходить, едва говорить научился, Сразу же стало нам ясно, что вышел умом он не в братьев. Трудно далась ему речь, а в грамоте, как говорится, Шел он, на каждом шагу спотыкаясь. Какою-то блажью Был он охвачен, как видно. Все жил он в каких то мечтаньях, Вечно сидел по углам глаза удивленно раскрывши.. Сад по ночам он любил, замолкнувший, тихий... Бывало,



Встанет раненько, чтоб солнце увидеть, всходящее в росах;  
Вечером станет вот эдак—и смотрит, забывши про минху<sup>6)</sup>:  
Смотрит на пламя заката, на солнце, что медленно меркнет,  
Смотрит на брызги огня, на луч, что дрожит, умирая...  
Нужно, положим, признать: прекрасно полночное небо,—  
Только какая в нем польза? Порою же бегал он в поле.  
«Велвелэ, дурень, кула?»—«Васильки посмотреть. Голубые  
Это цветочки такие, во ржи, красивые очень.  
Век их недолог, и только проворный достоин их видеть».  
«Это откуда ты знаешь?»—«От Ваньки с Тимошкой, от гоев  
Маленьких».—Часто бывало, что явится глупости демон,  
Велвелэ гонит под дождь, на улицах шлепать по лужам,  
Глядя, как капли дождя в широкие падают лужи,  
Гвоздикам тонким подобны, что к небу торчат остриями.  
Стал он какой-то блажной. В одну из ночей, что зовутся  
Здесь воробьиными, многих ремней удостоился дурень,  
Так что в великих слезах на своей растянулся кровати.  
Был он и сам—ну точь в точь воробей, что нахохлился в страхе.  
Так вот глазами и пил за молнией молнию, что рвали  
Темное небо на части...

Но сердце... Что было за сердце!  
Чистое золото, право. Бывало и пальцем не тронет  
Он никого. Не обидит и мухи. Детишки, конечно,  
Часто дразнили его, называли Велвелэ-дурень,—  
Да и другими словами обидными: он не сердился,  
Горечи не было вовсе у мальчика в ласковом сердце.  
Как он любил все живое! Кормил воробьев; ежедневно  
Сгзей огромной к нему слетались они на рас вете,  
Зерна и крошки клевали из рук у него. И бывало—  
Сам не успеет поесть,—а псов дворовых накормит.  
Пищей с пятнистым котом он делился, был пойман однажды  
В том, что таскал молоко окотившейся кошке. Но больше,  
Больше всего он любил голубей. Голубятню устроил  
И пострадал за нее многократно: ремней, колотушек  
Стоило это ему,—и других наказаний. Скажите:  
Кто ж это видел когда,—чтоб еврей с голубями возился?



Но устоял он во всем,—и рукой на него мы махнули.  
Делал он все, что хотел, и вскоре наполнили двор наш  
Голуби всяких сортов и пород. Деревенским мальчишкой  
Был я когда-то и сам, но понять не могу я, откуда  
Он это все разузнал. И что же ты думаешь, Мойше?  
Он и меня научил различать голубей по породам!  
Знал их малыш наизусть; вот это «египетский» голубь,  
Это «отшельник», а там—«генерал» с раздувшимся зобом  
Выпятил грудь; вот «павлин» горделиво хвост распускает;  
Там синеватой косицей чванятся горлицы; «турман»  
Встретился здесь с «великаном»; там парочки «негров»  
и «римлян»  
Крутят в сторонке любовь, и к ним подлетает «жемчужный»;  
Там вон—«монахи»-птенцы, «итальянцы», «швейцарцы»,  
«сирийцы»...  
Старец младенцу подобен: уже серебрился мой волос,  
Я же учился у сына и стал голубятник заправский...  
Вскоре за книги пророков уселся Велвелэ. Мальчик  
В сны на яву погрузился. Что в хедере слышит, бывало,  
То ему чудится всюду. Пришли на деревню цыгане,  
Просто сказать—кузнецы: так он в них увидел египтян.  
В поле увидит снопы—снопами Иосифа мнит их;  
Спрашивал часто: где рай, где Урим и Тумим<sup>7)</sup>, и где же  
Первосвященник? Весной, в половодье, все Черное море  
Чудилось мальчику. Холмик—Синаем ему представлялся.  
К Ерусалиму дорогу искал он. И понял мелáмед<sup>8)</sup>,  
Что недоступен Талмуд его голове—и довольно,  
Если он будет хороший еврей. Повседневным молитвам  
Велвелэ он обучил и внушил ему страх перед Богом.—  
Переменился наш мальчик. Всем сердцем к Творцу прилепился,  
Строго посты соблюдал, подолгу молился, как старый,  
Даже прикрикивать стал на меня и на братьев: мы, дескать,  
Грешники. Мы же его пинками молчать заставляли,  
Злили его и дразнили обидными кличками часто:  
Цадиком звали, раввином, святошей, Господним жандармом.  
Мальчик с тринадцати лет у нас начинает работать.



Начал и Велвелэ наш приучаться к торговому делу,—  
Но не затем он был создан.

Ты сам все знаешь, реб Мойше:  
С самых с тех пор, как пошли с «чертою» строгости,—землю  
Нам покупать запретили, и мы превратились в торговцев.  
Жизнь, конкуренция, гнет на обман толкают еврея.  
Чем прокормиться в деревне? Лишь тем, что пальцем надавишь  
На коромысло весов, чтоб чашка склонилась, иль каплю  
Где не дольешь в бутылку...

Так мальчик, бывало, не может:  
«Что говорится в законе? А суд небесный? Забыли?»  
«Что ж», отвечаем ему,—«ступай и кричи *хай векайом*<sup>9)</sup>».  
Он же заладит—«обман!»—И рукой на него мы махнули:  
«Пусть возвращается к книгам! При нем невозможно работать».  
Стянет, бывало, мужик что́ плохо лежит—и притащит.  
Можно б на этом нажать—да гляди, чтоб малыш не заметил.  
Прятались мы от него, как от стражника, честное слово!..  
В Пурим гостил у меня мешулох<sup>10)</sup> один Палестинский—  
Плотный, румяный еврей, с брюшком, с большой бородою.  
Сыпался жемчуг из уст у него, когда говорил он.  
Дети мои разошлись, уставши за трапезой общей.  
Все по углам разбрелись: тот дремлет, сидя на стуле,  
Тот на постель повалился, дневным трудом утомленный,  
Я же остался при госте, и много чудес рассказал он  
О патриарших гробницах, о том, как люди над прахом  
Западной плачут стены, и как всенародно справляют  
Празднество сына Иохан...<sup>11)</sup>

И слушать его не устанешь.  
Велвелэ рядом сидел: глаза у него разгорелись,  
Взор, как железо к магниту, стремился к редкому гостю.  
Каждое слово ловя, до поздней ночи сидел он  
И уходить не хотел. Когда же на утро уехал  
Этот мешулох от нас, наш Велвелэ с ним не простился.  
Думали мы: «Неизвестно, кого он еще теперь кормит».  
Зная все штуки его, все бредни, мы были спокойны.  
Но и обеден ый час миновал,—а Велвелэ нету.



Страшно мне стало за сына. Искали, искали — исчез он,  
Точно в колодец упал. Спросили соседей: быть может,  
Видели мальчика? Нет... Под вечер его на дороге  
Встретил знакомый один и привел. От стужи дрожал он.  
В эту же ночь запылал малыш, в жару заметался,  
Плакал, что больно в боку,—а сам все таял и таял...  
Только три дня—и готов.

Уж после все объяснилось.

Мальчик ни больше, ни меньше, как сам идти в Палестину  
Вздумал—и стал старика у околицы ждать. Ну, мешулох  
С ним пошутил и немного подвез его по дороге.  
Что же? с телеги сойдя, заупрямился мальчик и вздумал  
Дальше идти хоть пешком—и отправился по снегу, в стужу.  
Встретил крестьянин его—и привел. Конечно, мы знали,  
Что простоват мальчуган, но и прежде казалось нам также,  
Что не от мира сего он вышел и в нашем семействе  
Гостем он был необычным... Но что за душа золотая!  
Умер—и нет уж ее, и дом опустел, омрачился.  
Пусто сегодня на рынке, и вот я подумал: зайду-ка  
Белвелэ-дурня проведать. Небось, по отце стосковался.  
Мимо кладбища, где гои лежат, проходил я и видел:  
Все оно тонет в цветах, над могилами ивы склонились.  
И одурел я совсем, реб Мойше: взял да и бросил  
Сыну цветок на могилку: ведь как он любил, как любил их!»  
Симха вздохнул и умолк. Сидел и Жареный молча..  
«Ну, брат, Василий,—в кутузку!—сказал Иохим:—Подымайся.  
Писарь, того и гляди, придет. Не след арестант  
Лясы точить на дворе... Да дверь за собою прикрой-ка!»  
Тамуза солнце недвижно стояло средь синего неба.  
Море огня разлилось... Все искрится, блещет, сияет...



## ВАРЕНИКИ.

### ИДИЛЛИЯ.

#### I.

Редкое выдалось утро, каких выдается не много  
Даже весной, а весна—прекрасна в полях Украины,  
В вольных, как море степях!—Но кто же первый увидел  
Прелесть прохладного утра, омытого ранней росой,  
В час, как заря в небесах, розовея, воздушно сияет?  
Жавронок первый увидел. На крылышках быстрых он взвился  
В высь—и оттуда дождем просыпал певучие трели  
И разбудил воробьев на крышах, дроздов на деревьях.  
Солнце проснулось вторым; румяное, ликом пылает,  
Стыдно ему, что оно запоздало, пора за работу:  
Кистью слегка провести по цветку; золотистую пудру  
Бабочке бросить на крылья; забытую струйку потрогать,  
Чтобы чешуйчатой спинкой сверкнул проплывающий окунь;  
Яйца лягушек согреть, пшеницы ленивые зерна  
Поторопить— и пчелу разбудить лучом веселящим.—  
Третьей старушка Гита, вдова раввина, проснулась  
И приоткрыла глаза. Лазурное, чистое небо  
Синим повисло шатром. Едва пробившейся травкой  
Выгон и поле сверкали. Покой надо всем простирался,  
Храма пустого молчанье,—как будто сияньем и блеском  
Поражены и земля, и небо—и сами дивятся  
Чудной своей красоте... С нагретой постели поспешно  
Старая Гита поднялась, накинула платье и руки

Под рукомоём медным помыла. Тяжелый и толстый  
Был рукомоём, старинный. Боками сверкал и сиял он:  
Чистили часто его кирпичем толченым. (В подарок  
Гитл получила его от покойницы-тетки. А тетка  
Ей рукомоём на память в день свадьбы ее подарила...)  
Шопот у Гитл на устах: молитвы свои ежедневно  
Тихо читает она. Глаза же смеются, сияют:  
Кажется ей, что сегодня природа улыбкой умильной  
Встретила Гитл, и весь мир ликует обильной красою.  
Пестрый старухин кот услышал, что хозяйка проснулась,  
Жалобно жметя к ногам, и мяучит, и нюхает платье.  
Впалы бока у него, и клочьями шерсть вылезает:  
Время такое кошачье: что ночь—раздаются их вопли.  
«На тебе, старый дурак»,—на кота проворчала старуха  
И, молока в черепок наливши, поставила на пол.  
Жадно лакал его кот, устав от ночных походов.  
Глядя на это, и Гитл внезапно в себе ощутила  
Точно такой аппетит. И явственно в нос ей ударил  
Вкусных вареников запах... Вареники с сыром, в сметане...  
Пар благовонный восходит над круглой горячею миской...  
И улыбнулась старуха сама над собою: с чего бы  
Это желанье у ней?—И стопы направила в погреб.  
Погреб ее на дворе. Там сыр и горшки со сметаной.  
Только спустилась она—вдруг лай услышала громкий  
И человеческий голос: «Пошел ты прочь, окаянный!»  
Э, да ведь это Домаха! А Сирка все лает и лает.  
Тут подымает Домаха свою суковатую палку.  
Видно, собачьей спине прищелся удар не по вкусу:  
Взвизгнувши, пес побежал, на трех ногах ковыляя,  
Хвост же его между ног болтался, трусливо поджатый.  
Вышла из погреба Гитл, встречать нежданную «гою».  
«Доброе утро, Гитл». «С хорошей приметой, Домаха,  
Нынче встречаю тебя: в руке моей полная миска».  
«Мир тебе, Гитл»—и Домаха свой посох поставила в угол  
Маленькой комнаты той, что для Гитл служила и кухней.  
«Ну, а здоровье твое?» «Как видишь, Домаха, недурно.



Медленно я прохожу свой путь по милости Божьей.  
Ты-то куда собралась?» «А в церковь голубушка. Кстати  
Хлеба с собой каравай да кувшин молока захватила.  
Это отцу Василью: подарочек праздника ради»,  
«Разве же праздник сегодня?» «А как же? И праздник хороший:  
Нынче Микола Малый, забыла ты? Ну, да и наши  
Многие нынче выходят по праздникам в поле. Пропала  
Вера в народе. К обеду—и то уже немногие ходят.  
Все старики, да старухи, насилу живые. Давно уж  
Силы не стало браниться с ребятами. Все озорные.  
Глянь на него: ведь щенок! А скажи-ка, чтоб шел он к обеду:  
Сразу распустит язык: сегодняшней день, мол, такой же,  
Как и вчерашней... Все хуже народ. И в церквах запустенье.  
Входишь в ограду—там кто? Слепой, хромой да убогий.  
Хмурая церковь стоит, а отец Василий—что туча.  
Колокола зазвонят—как будто над церковью плачут...  
Ну—и из ваших, положим, отступников тоже немало.  
Тоже: трефное едят да жарят цыпят по субботам.  
Помню, была я девченкой: в субботу, бывало, все вымрет;  
Дрожь по спине пробегала: так тихо и пусто на рынке.  
Нынче же—стыд и срам. по субботам—продажа да купля.  
Стыдно, ей-Богу, самой покупать у еврея в субботу...  
Так-то вот, Гитля. А эти... Ну,—Залман хотя бы, к примеру:  
Третьего дня приходил, овец продавать. А ведь праздник!  
— Залман,—сказала я,—слушай: ужель ты надеешься вечно  
Жить да и жить на земле? Аль вовсе о смерти забыл ты?  
Что тебе скажет Господь? Аль суда ты Его не боишься?  
Праздник ведь нынче!—А он—к моему обращается сыну  
И говорит ему:—Грица! Отдай-ка ты нам свою матку,  
Пусть она будет раввином!—Ведь вот что сказал, безобразник!  
Так-то... А что это, Гитля? Зачем тебе сыр и сметана?»  
Ей со смущением Гитля отвечает: «Сама не пойму я.  
Не было сил устоять: вареников так захотелось—  
Просто беда! Говорят же в народе: что старый, что малый...  
Долго живет человек, а все дураком умирает».  
В это мгновение до слуха донесся звон колокольный.



Палку схватила Домаха, и хлеб, и кувшин. «До свиданья». «Путь счастливый тебе».—И гостя уйти поспешила. — Правильно гоя сказала,—подумала с грустью старуха: — Хуже и хуже народ! Мы плохи—а дети подавно! Залман-торговец.. А сын мой? А Рейзелэ, внучка? О, горе! Дай им здоровья, Господь,—а все-таки разве такими Были когда-то мы сами, и деды, и прадеды наши?» Думая так, со стены сняла она доску большую, Сбитую прочно из липы слегка розоватых дощечек. Темная жилка по ней разбегались красивым узором. Доску на стол положивши, берется старуха за сито. Всыпала в сито она муки тончайшей, крупчатки, Чтобы просеять ее рукою проворной и ловкой. Снежною пылью, казалось, наполнились дырочки сита. Снежная пыль расстилалась по гладкой доске и ложилась Плотным покровом по ней,—сверкающим белым покровом Осенью первый снежок не так ли на землю ложится,— Словно от князя зимы поцелуй и привет ей приносит? Мелкою, белою пылью мелькает мука, ниопадая. Вот—пронеслась, промелькнула, как, облачко. С каждой пылинкой

Точно прошли перед Гитл минувшие дни и недели,— Долгие годы страданий, минуты короткого счастья. Вот она—девочка... вот уж—невеста... и мать... и однажды Вдруг просыпается Гитл старухой, бабушкой... Вот уж— Рейзелэ, милая внучка, дай Бог ей долгие годы... Светлою снежною пылью сквозь мелкие дырочки сита Медленно, тихо мука упадает на гладкую доску. Гитл, наконец, подгребает ее, на доске образуя Как бы высокий вал, окружающий впадину. Молча, Быстрой и легкой рукой муку собирает старуха,— В мыслях же—Рейзелэ, внучка, дай Бог ей долгие годы.



## II.

Чистый, невинный и нежный, глаза раскрывает ребенок.  
Весь он—как замкнутый мир, и в душу его не проникнешь.  
Дремлют до времени в ней и злые, и добрые силы.  
Но подрастает ребенок под сенью родительских крыльев,  
С матерью схож и с отцом; сначала их жизнью живет он;  
Дни пробегают за днями; но вот... (Тут Гитл над мукою  
Шесть разбивает яиц и белок и желток выливает...  
Выливши, месит она рукою привычною тесто.  
Вся изменилась мука: прозрачно-янтарная стала).  
Да, настает таки день: из гнезда выпадает ребенок.  
Всякий прохожий к нему рукою своею прикоснется,  
Грязью своею замазает; и тяжело, и грубо касанье  
Чуждой руки. Такова ли родителей нежная ласка?  
Рейзелэ славно цвела, весь дом наполняя весельем;  
Песенкой солнце встречала, как жавронок, ранняя пташка;  
К вечеру склонится солнце—и Рейзелэ глазки закроет,  
Чтоб отдохнуть от дневного чириканья, пенья. плясанья,  
От обучения куклы молитвам, от игр на песочке...  
Вскоре, однако ж, ее увезли из местечка далеко:  
В город отец переехал. И лет через пять лишь старуха  
Милую внучку свою опять увидела. Но что же?  
В Рейзелэ Гитл не узнала прежнего птенчика. Только  
Несколько быстрых мгновений в объятиях бабушки нежной  
Слушала Рейзелэ голос минувшего. Но промелькнули  
Эти мгновенья, и внучка прекрасные глазки раскрыла,  
Словно безмолвным вопросом в старухино сердце глядела,  
Чтоб разгадать это сердце, для Рейзелэ ставшее чуждым.  
Видела, видела Гитл, что все изменилось, что даже  
Сын ее—словно другой. Но глаза закрывала старуха,  
Точно боялась она смотреть на все, что творится.

Тесто же стало меж тем на топаз индийский похоже.  
Гладкую скалку тогда старуха взяла и по тесту  
Крепко ей стала водить по всем направлениям. чтобы



Тесто свое раскатать широким и правильным кругом,  
Чтобы его толщина повсюду была равномерна,  
Чтобы нигде ни бугров, ни впадин на нем не осталось.  
Вот уже тонко оно, как будто прилежным рубанком  
Сглажено... Только порой упрямилось липкое тесто,  
Цепко, упорно хватаясь за гладкое дерево; к скалке  
Точно ласкалось оно, прилипая упрямо и прочно...  
Долго с ним Гитл провозилась, умело с работой справляясь.

Минуло целых два года меж этим свиданьем и новым:  
Вот уж внучка ее—гимназистка, в коричневом платье  
Форменном. Узкие плечи и тонкая талия тесно  
Схвачены платьем казенным, как будто бы мощной рукою.  
В Рейзелэ все по порядку, по форме, по мерке. Стесненно  
Ручкою движет она по указу начальства. Поклоны  
Делать ее научили и взвешивать каждое слово.  
Книжка в руках у нее: сочинения Пушкина, в красном,  
Пышном таком переплете с тисненьями золотом. Книжка  
Рейзелэ строгим начальством дана «за успехи в науках  
И прилежанье.» За книжкой весь день просидела девчурка,  
Стих за стихом нараспев, отчетливо, громко читая.  
Пламя в глазах у нее, и пламенем щеки пылают.  
Книжка была драгоценна и внучке, и Гитл. Ежедневно  
Рейзелэ книжку читала; когда же она засыпала,  
Пушкина ставила Гитл на полку, где прочие книги:  
Зéно урэно<sup>1)</sup> и тхинос<sup>2)</sup>, что сложены Саррой бат Тувим.  
Сердце старухино, правда, ее укоряло за это,—  
Все-ж оправданье она находила такому трэф-пóсул<sup>3)</sup>.  
Книга ведь эта была не то, что прочие книги  
Рейзелэ...

В эту минуту стакан достала старуха,  
Крепко его приложила к готовому тесту, нажала,—  
Словно отточенный нож, краями он врезался в тесто,  
И получился кружок, а потом и другие такие ж,  
Как близнецы, иль сосуды, по форме отлитые общей.



Клещи порядков и правил впиваются в душу ребенка,  
Сдавят ее—и по воле, которой противиться тщетно,  
Все бытие малыша в суровую форму втесняют.  
Вот уж душа у ребенка запугана, скомкана, смята  
Долгим и тягостным гнетом, готовым ее уничтожить.  
Все убывает она, как свеча под порывами ветра.  
Вот уж нет ее вовсе. Но некогда день наступает—  
Школу свою ученик покидает, и все его мысли—  
Мысли прочитанных книг, и душа его—тоже из книги.  
Смотрит на мир он глазами учителя. В гнете учебы  
Душу свою потерял он—на время...

Тут сыру достала  
Гитл, и растерла его, и в глиняной миске смешала  
С яйцами. Взявши потом немного этой начинки,  
Гитл положила ее на один из кружков, что стаканом  
Были нарезаны. Сверху—таким же накрыла кружочком.  
Тесто рукой по краям защипнула—и слиплись кружочки.

В школе ребенка душа за себя перестала бороться;  
Все получила она из рук учителя чуждых,  
Чуждым ученьем прониклась... Но время проходит, из класса  
В жизнь вступает она: родным и наставникам радость.  
Но из-под гнета оков порой освобождает ребенок  
Душу свою, и она сокровенною злобой, враждою  
Вечною полнится к тем, кто ее заставлял поклоняться  
Чуждым святыням. Но как же излить ей досаду и горечь?  
Вот и влечется она ко всему, что мучители прежде  
Ей запрещали так строго...

Но годы промчались, и к бабке  
Рейзелэ девушкой взрослой в родное гнездо возвратилась.  
Только веселья былого не стало в ней. Взор углубился  
И опечалился. Молча сидела она и читала  
Денно и ночью, пока керосину в лампе хватало,  
И захотела старушка порадовать внучку. Из шкафа  
Пушкина вынула Гитл. Но губы скривила в гримасу  
Рейзелэ, так что старухе обидно за Пушкина стало,



Словно обида его ей в самое сердце кольнула.  
И с огорчением Гитл поставила книгу на полку,  
Рядышком с зено-урено и тхинос...

Еще не готовы  
Были вареники Гитл, а там, на плите, уж кипела,  
Пар воздымая, вода,—и в горшке пузыри клокотали.  
Стала вареники класть в кипяток старуха—и в клубах  
Пара сокрылись они...

Но залаяла Сирка, и тотчас  
Ясно донесся до Гитл мужской разгневанный голос.  
Вышла старуха во двор и увидела там почтальона.  
Рейзелэ почерк знакомый узнала она и, вернувшись,  
С радостно бьющимся сердцем конверта края разорвала,  
Ближе к окну подошла, чтобы видеть яснее... Но бледность,  
Бледность смертельная вдруг лицо покрывает старухе.  
Вот ухватилась она за край стола, чтоб на землю  
Прямо не грохнуться тут же. Но вот—овладела собою,  
Села на стул и читает... Строк десять, не более, было  
В этом письме, но как много сказали старухе те строки!  
«Я арестована, жду суда в Петропавловке». Значит...  
Рейзелэ, значит, в тюрьме?... О, Рейзелэ, Рейзелэ!.. Боже!  
Мнится старухе, что ближе, все ближе ужасное что-то...  
Вот уж близко совсем—подошло, навалилось и давит.  
Сил у нее не хватает от ужаса скрыться. А мысли—  
Мысли бегут, обрываясь, тускнеют, мешаются, меркнут..  
Села старуха и смотрит невидящим взором.

А солнце,  
Теплое солнце весны, поднялось и залило светом  
Поле, и лес, и луга. И луч на лице у старухи  
Тихо играет; она же сидит неподвижно и слышит  
Рокот и ропот воды, клокотанье, бурление,—и видит  
Пар над горшком, пузыри—и вареники в пенс кипящей.

## ПЕСНЬ АСТАРТЕ И БЕЛУ.

Бел с Астартой! Песня вам!  
Зычный филин! Змей из ям!  
Воля к страсти! К жизни зов!  
Выходите из низов,  
Где полынь, где терн заплел  
Кипариса ветхий ствол.  
Всяк живой—восторг встречай,  
Перед ним пути равняй!

Прочь из бездн, из темных ям!  
Солнца светел путь и прям.  
Пробудилось солнце вновь,  
Отравляет хмелем кровь.  
Старый хлеб изсяк, но в срок  
Озимь гонит свой росток.

Солнце глянуло светло,  
Солнце в безду низошло,—  
Птицей властвует порыв,  
Птица птице шлет призыв.  
Стаи кличут и летят,  
Стая к стае, с рядом ряд,  
Мчатся, вьются по кругам—  
Вот уж пары здесь и там.



Крикни волку в даль степей:  
«Вспрянь—и с болью счастье пей!  
Встрепенись, как Бог рукой  
Мощно схватит мускул твой.  
Темных сил внемли завет,—  
Древний ток минувших лет.  
Слушай прошлого закон;  
Полон тайн и мощи он,  
Скрыт он в звере и в ростке,  
Точно пламень в тайнике».

Человек, восторг встречай,  
Светлый путь ему равняй!  
Горсть пшеницы золотой  
Брошу я в тебя рукой.  
В зернах—тайна, в зернах—сок,  
В соке—вечной жизни ток.  
Тайна в дух твой западет;  
Сгнь в крови твоей зажжет..  
Вспрянь, желай и будь силен:  
В этом—мудрость и закон.

Взяв жену, иди в поля,  
Там беременна земля:  
Поколенья трав живых  
Бьют ключем из недр земных.  
Тайно в скалах и песках  
Зреет новь и тлеет прах.  
Жизнью тьма, как свет, полна:  
Всюду Бела семена!

Глянь на запад и восток:  
Всюду вод бурлящий ток  
Полн зачатий и родов:  
В шумном рокоте ручьев,

В море, сжатом между скал,  
Там, где медленный канал,  
Где капель поет, звеня,—  
В бездне тьмы и в свете дня.

Тайна в дух твой западет,  
Властной чарой обоймет,—  
Ибо мудрость и закон:  
Вспрянь, желай и будь силен!



## СМЕРТЬ ТАМУЗА.

И вот, там сидят женщины,  
плачущие по Тамузе.

Иезекииль, 8 14.

Идите и плачьте,  
О, дщери Сиона!  
Сияющий Тамуз—он умер, увь!  
Грядущие дни—это время ненастья,  
И душ омраченных, и желтой листвы!

В поблекшие рощи,  
Где черные ветви,  
Спешите, спешите с восходом зари,  
Туда, где безмолвствуют чары и тайны,  
Где Тамузу-свету стоят алтари.

Какую же пляску  
Мы Тамузу спляшем  
Вокруг алтаря, взгроможденного ввысь?  
Семижды направо, семижды налево,  
И склонимся ниц, и воскликнем: «вернись!»

Семижды направо,  
Семижды налево,  
Всем за руки взяться и мерно ступать!  
За отроком отрок, за девою дева,  
Мы выйдем и Тамуза станем искать.

На тихих дорогах  
Его мы искали,  
Где солнце, и свет, и сиянье лучей,  
Где сердцу так сладко в тепле и покое,  
Где в воздухе стриж, а в пыли воробей.

Его мы искали  
Меж тучных колосьев,  
Где мак и терновник на тесных межах,  
У берега ручьев, на лугах камышевых,  
В зеленых и влажных шуршащих стеблях.

К реке мы спустились,  
К земле плодоносной,  
Минуя овраги, обрывы и рвы...  
Ты, ястреб! Ты, голубь! Ты, ветер летучий!  
Ответьте: не видели Тамуза вы?

Его мы искали  
Меж грудями листьев,  
В смолистых лесах за стволами дерев.  
Быть может, он спит в благовониях кедра?  
Быть может, он дремлет под запах грибов?

Его мы искали—  
И вот не нашли мы!  
Спускаясь в долину, взбираясь на скат,  
Искали мы тайну, искали мы чуда  
В местах, что дыхание Бога хранят.

И рощи священной  
Мы видели заросль,  
И древо Ашеры спаленное в ней,—  
И только птенцов мы слышали голодных,  
Алтарь же—забытая груда камней.



Его мы искали  
В верховьях потоков,  
Где шепчут лишь духи, послушны волхву,  
Где гнется камыш, шелестящий, хрустящий,  
Иссушенный зноем, спалившим листву.

И нимфы исчезли  
С лугов, и не слышен  
Их голос и смех над вечерней волной..  
Стал пастбищем луг,—и козлы к водопою  
Несутся по травам, покрытым росой.

Идите и плачьте,  
О, дочери Сиона!  
Скорбящую землю увидите вы,  
Скорбящую землю и сумрак бесчарный:  
Сияющий Тамуз—он умер, увы!

## ЛЕСНЫЕ ЧАРЫ.

Вот оно! Восходит солнце! По долинам, по низам  
Все еще туман клубится, прицепившийся к кустам.

Вот, качаясь, в высь взлетает. С озера сползает тень...  
С непокрытой головою, брат, бежим—и встретим день!

По холмам и по долинам, потаенною тропой,  
Там, где в даль межа змеится, увлажненная росой!

Где цветами роз и лилий тесный мой усеян путь,—  
С вольной песней, словно дети, мчимся, счастьем нежа грудь!

В лес, к ручью! В хрустальной бездне ясный день заблещет нам  
Рассечем поток студеный, станем бегать по пескам.

В лес! У леса—тайны, шумы, сумрак, шорохи теней,  
Звуки темные, глухие, дебри спутанных корней.

Там от века дремлют камни; там покой и тишина,  
Смутный шорох листопада, злых оврагов глубина;

Там на дне долины вьется с легким шелестом ручей;  
Запоздалого побега там не видит взор ничей;

Там нора косоного зайца, гнезда ос в пустых дуплах;  
Копшится крот на солнце ястреб реет в небесах;



Вот—расщепленные буки, на стволах грибы сидят...  
В буке—ласочки жилище, а в кустах таится клад.

Робко мышь глядит из норки... Груды хвои, муравьи...  
Брошена прозрачным свитком кожа старая змеи.

Утром ястреб заунывно прокричит в пустую даль,  
Ночью захохочет филин, пробуждающий печаль...

Запах листьев прошлогодних, сосен пряный аромат...  
Там, в траве, семьею тес ой подосинники сидят.

Боровик, валуй, масленок и пурпурный мухомор!  
Здравствуйте, живите, будьте! Всех равно ласкает взор.

Жизнью тихой, жизнью мирной суждено вам здесь прожить,  
И болеть, и в чарах леса волхвовать и ворожить..

Молча внемлю звукам леса я, Адама сын немой:  
Чуждый миру их, иду я одинокою тропой.

О, когда б цветов и знаков речь могла мне быть слышна,  
И вела б со мной беседу благовонная сосна!

Верно есть, кто понимает говор листьев, шопот вод,  
С незрелой земляникой речи грустные ведет;

Кто целует, сострадая, расщепленный ствол сосны,  
Кто поймет качанье дуба, шопот ветра, плеск волны;

Верно есть, с кем чарой ночи рад делиться скромный гриб,  
Кто играет с водолюбом, что к пузырькам прилип.

Кто с улыбкой умиленья смотрит на гнездо дроздов,  
Глупой ящерице кличет: «Тише, берегись врагов!»

Есть же кто-нибудь, кто в скорби на себе одежды рвет,  
Слыша, как топор по лесу с тяжким топотом идет!

Есть же хол уединенный духов и лесных ариад,  
Где волшебным, властным словом чародеи ворожат.

Верно есть в глубокой чаще, весь в морщинах, царь лесной,—  
Словно дуба векового ствол, расколотый грозой;

На его густые кудри солнце льет лучи, чтоб жечь  
Этот мох зелено-серый, ниспадающий до плеч;

Борода его—по пояс, мрачен взор из-под бровей,  
Словно сумрака лесного темный взгляд из-за ветвей...

Верно есть меж тонких сосен легкий замок тишины,  
Сладкий всем, кого томили жизни тягостные сны..

Верно есть лесные девы, быстрые как блеск меча,  
Смутные как сумрак леса, легкие как свет луча.

Стан их гибок и прозрачен; удивленно-грустный взгляд—  
Словно мотылек весенний, словно ручеек меж гряд.

В длинных косах, на одеждах—водяных цветов убор...  
Их воздушным хороводом заплетен угрюмый бор

В те часы, когда над прудом виснет голубой туман,  
А луна, бледна, ущербна, льет на землю свой дурман.



## Я. ФИХМАН.

Хожу я к тебе ежедневно,  
Признание сорваться готово...  
Но нет: не сказалось ни разу—  
И будет ли сказано слово?

Хожу я к тебе ежедневно,  
Как нимбом—увенчанный счастьем.  
Когда ж возвращаюсь—мерцает  
Звезда мне унылым участием.

Так счастье цветет ежедневно:  
Увяло—и вновь зазелело...  
Хожу я к тебе ежедневно,  
А ты и не знаешь, в чем дело.

## МОЯ СТРАНА.

О ты, страна моя, насыщенная морем,  
Страна безмолвных гор и величавых туч,  
Струящих вечности и тайны свет священный,  
Скользя по белизне твоих отвесных круч.

Я принял всю тебя: и скорбь твоих усталых,  
Прохлады жаждущих, испепеленных жнитв,  
И мрак пещер твоих, где сладкий хлад покоя  
Встречает беглецов, презревших ярость битв.

Ты вся моя. Люблю песков твоих неярких  
Струенье нежное на берегу морском  
И алость пышную цветов, что теплым утром  
Трепещут, как сердца, под легким ветерком.

Впервые предо мной ты на заре открылась  
В унылой наготе холмов—и вся была  
Как слабая душа, что жаждет избавленья—  
Как пламя, скорбь твоя мне сердце обожгла.

В тебя поверил я. Припав к земле, я слушал  
Песнь сердца твоего. На каждый холмик твой  
Усталую главу доверчиво склонял я,  
Из камня каждого священный пил покой.

Никто не ведает про то, что мне шептали.  
Твой каждый кустик, терн в расщелине скалы,  
Когда, волнуемый печалью странно-древней,  
Я брел долинами в часы вечерней мглы.



Когда душа дрожит пред щедростью Господней,  
Как сладок ветерок твоих святых ночей!  
Как сердце веселит усталому скитальцу—  
Среди пустынных гор напев твоих ключей!

Мать-родина! Ты нам—как мореходам гавань.  
В тебе конец пустынь, покой и мирный сон.  
К твоим горам бредут от всех пределов мира  
Скитальцы всех времен, наречий и племен.

В плодах твоих долин—какой избыток пышный!  
Как мягко шелестит в ручьях твоих вода!  
Как одиночество вершин твоих прекрасно!  
Как сердцем волен тот, кто добредет сюда!

### 3. ШНЕУР.

#### ПОД ЗВУКИ МАНДОЛИНЫ.

(ОТРЫВКИ).

#### ИЗ ПЕСЕН ИЗРАИЛЯ.

ВОЙНЫ БОЖЬИ.

О, пой еще, пой мне еще, дочь Рима!  
Огонь твоих перстов пусть перельется в звуки,  
Пускай поет, как если бы запело  
Мое немое сердце...

.....  
Так! Пой еще! Зачем с недоумением  
Глазами черными ты смогришь на меня?  
Иль не узнала ты меня,—ты, внучка  
Тех, кто страну мою и храм мой растоптали?  
Я иудей... я внук зелотов <sup>1)</sup> древних!  
Вглядись—и ты в глазах моих заметишь  
Сверканье глаз Симона бар-Жиоры.  
Еще горит во мне вся ярость Иоханана,  
Что головы дробил твоим бойцам,  
Взбиравшимся на башни Гуш-Халава...

.....  
Забыла ты или не знаешь вовсе,  
Что нас с тобой одно смуглило солнце,  
Что море общее лизало в дни былые  
Моей страны нахмуренные скалы  
И родины твоей утес береговой?..  
.....



Предательское море! Не стыдилось  
Оно на вспененных горбах своих валов  
Нести плоты сидонские, что предки  
Твои похитили! Оно влекло покорно  
Сионских пленников, высоких, юных, смуглых,  
Чтоб на глазах изнеженных матрон  
Они сражались в цирках со зверями  
И «Ave, Caesar, morituri te salutant!»  
Кричали, скрежеща зубами, изнывая  
От жажды мщения.. И те же волны  
Переносили в Рим прекрасных, страстных дев,  
Сестер Юдифи, Руфи, Саломеи,  
Чтоб для своих мучителей они  
На мельницах трудились, как рабыни.  
Безжалостное море! Гневным шквалом  
Оно моих врагов—твоих победных предков—  
Не потопило: помогло украсть  
Мой гордый семисвечник, символ Бога,  
Чтоб украшал он чуждые чертоги,  
Чтоб обнаженные блудницы оправаляли  
Его светильни..

. . . . .  
Рука моих золотов не отмстила  
За честь моих сестер, за кровь героев.  
В семьдесят раз мой дух не отомстил.  
Не победил народ,—но победил мой Бог!  
И нет страны, где б не излил мой Бог  
И кровь мою, и дух, и прелесть Галилеи.  
Священной книги нет, чтоб в ней не уловил я  
Шум Иорданских вод иль эхо гор Ливанских.  
Где храм и где дворец, в которых не звучат  
Псалмы Давидовы, глаголы Моисея?  
Где холст, где мрамор, медь, что нам не говорили б  
На вечном языке ожившей плоти  
Об откровениях и светлых снах пророков,  
О творческой росе в сказаньях Бытия,

О грустной осени в стихах Екклезиаста,  
О буйном вертограде Песни Песней?  
Мой творческий во всем лучится свет,  
Во всех плодах земли—души моей дыханье—  
Как тонкий аромат этрога. И народы  
Им дышат, им, не ведая того!  
Я перцем стал в устах иных народов—  
И в этом вечное отмщение мое!

ГОЛУС. 2)

...Я царский сын. Взгляни ж: от ветхости истлела  
Моя, давно скитальческая, обувь,  
Но смуглые нежны еще ланиты—  
Востока неизменное наследье.  
В глазах—какая грусть, и сколько в них презренья!  
В моей глуби все океаны тонут,  
И слезы все—в одной моей слезе.  
Все реки горестей в мое впадают море,  
И все-таки оно еще не полно.  
В котомке у меня такие родословья,  
Какими ни один вельможа похвалиться  
Не сможет никогда. И многие народы  
Обязаны мне властию, величьем,  
Победами, богатством, славой царств.  
Здесь на пергаменте записаны долги  
Слезой и кровью моего народа.  
Здесь Саваоф писал, и Моисей скрепил.  
Свидетелями были—твой Спаситель,  
Пророк Аравии и все провидцы Божьи.

.....  
Я—пасынок земли, вельможа разоренный—  
Как я потребую назад свои богатства,  
С кого взыщу сокровища души?  
По всем тропам, по всем большим дорогам  
Напрасно я искал себе путси.



В ворота всех судов стучался я: никто  
Награбленных не отдает сокровищ.

И видел я:

Во прахе всех дорог, в грабительских вертепах,  
В потоке всех времен и в смене поколений  
Разбросаны сокровища мои.

И с каждым шагом видел я: в грязи —  
Вся сила духа, что досталась мне  
В наследие от многих поколений;  
Из храма каждого мне слышен голос Бога,  
Из леса каждого звучит мне песня жизни,—  
Но слушать мне нельзя, на всем лежит запрет.  
В высоких замках, утром озлащенных,  
В окошке каждом, где горит огонь,  
Моих героев вижу, вижу предков,—  
Моей страны, моих надежд осколки,—  
И все они, увы, чужим покрыты прахом,  
Все в образах мне предстают суровых  
И с чуждым гневом смотрят на меня.  
И даже к их ногам упасть я не могу,  
Чтоб лобызать края святых одежд,  
Благоухающих куреньями..

Я видел:

Хоть я еще живу—раб духа моего  
И мудрости моей стал господином.  
А знаешь ты раба, который господину  
Наследовал? Земля дрожит под ним,  
Когда он воцаряется. Во веки  
Мне не простят рабы своих воспоминаний  
О грязной луже той, где родились они.  
Мой каждый шаг напоминает им  
Их низкое рожденье. Древний путь мой —  
Зерцало вечное их преступлений,  
Знак Каина на лбу у всех народов,  
Знак подлости, кровавое пятно

На сердце мира. И глубоко въехался  
Тот страшный знак. и смыть его нельзя  
Ни пламенем, ни кровью, ни водой  
Крещения...

.....  
Презренье, горделивое презренье  
Рабам рабов, вознесшимся высоко!  
Покуда бьется сердце, не возьму  
Их жалкой красоты, законов их лукавых  
За свитки, опороченные ими.  
В упадочном и дряхлом этом мире—  
Презренье им! Презрению моему  
Воздайте честь: оно в моих мехах—  
Как старое вино, сок сорока столетий.  
Очищено оно и выдержано крепко,  
Вино тысячелетнее мое..  
Отравятся им маленькие души,  
И слабый мозг не вынесет его,  
Не помутясь, не потеряв сознания.  
Не молодым народам пить его,  
Не новым племенам, не первенцам природы,  
Которые вчера лишь из яйца  
Успели вылупиться. Чистый, крепкий,  
Мой винный сок—не им... Но ненависть ко мне  
Бессильна выплеснуть его из мира...

Презрение мое! Тебя благословляю:  
Доныне ты меня питало и хранило.  
Меня возненавидел мир. Он избавленья  
Не признает, которое несу я.  
И вот, от жажды бледный, я стою  
Пред родником живым. Расколотое, пусто  
Мое ведро. Мной этот мир отвергнут  
С неправой справедливостью его.  
И если сам Господь, отчаявшийся, древний,  
Придет и скажет мне: «Я стар, Я не могу



Тебя хранить в боях, сломай мои печати,  
Последний свиток разорви, смирись!»—  
Я не смирюсь.  
И на Него ожесточился я!  
И если будет день, и смерть ко мне придет.  
Смерть безнадежного народа моего,—  
Тогда, клянусь, не смертью жалких смертных  
Погибну я!  
Вся мощь моей души, все тайное презрение  
В последнем мятеже зальют весь мир.  
На лапах мощных мой воспрянет лев.  
Сей древний знак моих заветных свитков...  
Венчанную главу подняв, тряхнет он гривой,  
И зарычит  
Рычаньем льва, что малым, слабым львенком  
Похищен из родимой кущи,  
Из пламенных пустынь, от золотых песков  
И ловчим злым навеки заточен  
На севере, в туманах и снегах.  
Эй, северный медведь, поберегись тогда!  
Счастливы тогда медведь, что в темноте берлоги  
Укрылся—и сопит, сося большую лапу.  
Коль Божий лев умрет—умрет он в груди трупов,  
Меж тел растерзанных его взметнется грива!  
Вот как умрет великий лев Егуда!  
И волосы народов станут дыбом,  
Когда они узнают, как погиб  
Последний иудей...

#### К СОЛНЦУ.

...Ты—пой... Давно мои забыли сестры  
Напевы солнца, спелых гроздий, влажных  
Чаш лотоса, напевы гордых пальм,  
Что рвутся из земли раздольным кликом жизни.

Забыта ими песня о свободе  
И песнь зелота, что роняет лук,  
Обвитый локоном возлюбленной... В унылых  
Напевах севера, в часы чужих веселий.  
В кругу врагов, возжаждавших изведать  
Любовь Востока,—смуглые мои  
Танцуют сестры. Пляска выюг—их пляска...  
Ты, чуждая, будь мне сестрой! Спаси  
Песнь моего Востока. Как ручей,  
На севере она заледенела  
И носится, как ветер непогоды,  
Взвывающий в трубе. Горячий звук  
Твоих напевов слушать я пришел  
От низкорослых сосен, мхов и воробьев,  
От торфяных болот, пустых, бесплодных, черных,  
От снеговых степей, безбрежных, как тоска  
Стареющего сердца... Я пришел  
Из северной страны, страны, что вся—равнина  
Где выюга и туман навеки поглощают  
Весь жар любви, весь лучший сердца жар,  
Все чаянья, всю власть и чару песен.  
Что человек там может дать другому?  
Там с утра дней моих я слушал по дворам  
Напевы осени, томительные песни,  
Летевшие из хриплых труб шарманки.  
Там утра серые, там рос на крышах мох,  
И пресмыкаясь, песня мне сулила  
Убожество души и тела, вечный ужас—  
И ржавчиной мне падала на сердце...

. . . . .  
Рукою пращуров твоих рассеян я,  
Скитание меня сюда приводит.  
Все дальше от Востока страны те,  
В которых шаг за шагом умираю.  
Вот я слабею, в жилах стынет кровь,  
Кипевшая когда-то верой в Бога



И песней Вавилонских рек. Мое презренье,  
Питавшее меня, питаемое мною,  
Презренье господина, что своим же  
Гоним рабом,—оно уж иссякает.  
Священный огонь, таившийся, как лев,  
В моих священных свитках.—с дня того,  
Как угля на алтаре погасли,—  
Слабеет. Лишь один еще пылает клочок  
Его багряной гривы. Год за годом  
Я примиряюсь с севером, в его туманы  
Я падаю, чужой болею болью,  
Живу чужой надеждою... Моя же  
Боль притупилась. Горе, горе мне!  
Одно лишь поколение—и, как труп,  
Закоченею я...

. . . . .  
Что мне до той страны,—мне, отпрыску Востока?  
Мои глаза давно уже устали  
От ослепительных равнин, покрытых снегом.  
В былые дни мои летели взоры  
Над благовонными холмами Иудеи,—  
Теперь они томятся над бескрайным  
Простором черных, выжженных степей.  
Тысячелетия тому назад  
Мои стопы привыкли к раскаленным  
Пескам пустынь, к обточенным волною  
Камням на берегу родного Иордана,—  
И вот среди лесов, сырых и мрачных,  
Они в болоте мшистом погрязают.  
Моя душа летит к Востоку, к солнцу,  
По солнечным лучам мое тоскует тело,  
И каждая мне ветвь, кивая, шепчет: «К солнцу!»  
Пока еще я жив, вновь обрету его,  
Прильну молитвенно к полусожженным знакам,  
К подножью гордых пальм, сожженных этим солнцем,  
К желтеющим пескам пустынного песка.

И кровь моя вскипит и с новой силой крикнет:  
«Возмездия! Суда!»  
И жизни ключ, заледеневший в стуже,  
Прорвется вновь потоком вешних вод,  
И загремит порывом новой воли.  
Сон о Мессии, злую тьму поправшем,  
Вновь станет, как лазурь, и светел, и глубок,  
И если гибелью грозит мне возвращенье  
На мой забытый, пламенный Восток—  
С меня довольно, если это солнце  
Меня сожжет, как жертву,  
И ливни шумные размоют остов мой...  
Так! Лучше пусть моею кровью скудной  
Напьется хоть один цветок Востока,  
Пусть в бороде моей совет себе гнездо  
Ничтожнейшая ласточка Ливана,—  
Чем удобрять собой просторные поля,  
Морозным инеем покрытые—и кровью  
Моих невинно-убиенных братьев!



## Д. ШИМОНОВИЧ.

### ПОСЛЕДНИЙ САМАРЯНИН.

Спотыкаясь, он блуждает от скалы к скале,  
Он последний. Тайна смерти на его челе.

Вот уж сумрак безглагольный никнет над пустыней  
Горы темные покрыты мглой туманно-синей.

Вот коснулся луч заката впалых, бледных щек.  
Вот в зрачках зажегся хладный, быстрый огонек.

На песках пустыни желтых молча видит он  
Бурь минувших начертанья, письма времен.

Глядя в даль, он бродит в скалах, сгорбленный и хилый.  
Горы там Эйвал и Гризим: предков там могилы...

Там орел раскинул с клетком вольных два крыла.  
Не увидит самарянин гордого орла.

Будет ночь, взметнется буря, вихрь пустынь заплачат  
Там не б стрый самарянин на коне проскачет.

На горах пастушья песня зазвенит с зарей,  
Но внимать не самарянин будет песне той.

Будет вечер—свет и сумрак. Внуку в назиданье  
Передаст не самарянин древнее сказанье.

Сядет девушка на камне. Загрустит она,  
Но увы, не самарянин грусти той вина.

В зимний дождь покроем горы мрак фатой широкой,  
Будет дом стоять промокший в скорби одинокой.

Налетев, открытой дверью ветер застучит,  
Жалобно коза проблеет, птица прокричит.

Летом—пышный виноградник ветви опускает.  
Не споем в нем виноградарь, нож не засверкает.

Гроздь вытопчет шакалов яростная стая,—  
Их не встретит самарянин, лук свой напрягая.

Отзвук песни самарянской не замрет меж гор.  
Никогда уж не увидит человека взор,

Как счастливый самарянин девушку целует,  
Как тяжелый меч сьой точит, как порой тоскует...

Вот, он бродит, спотыкаясь, от скалы к скале,  
Он последний. Тайна смерти на его челе.

Из ущелий потаенных всходит сумрак синий.  
Письмена столетий меркнут на песках пустыни.



## НА РЕКЕ КВОР.

«И я среди переселенцев на  
реке Квор».

Иезекииль, I. 1.

То было месяца начало:  
В Ниссон переходил Адор.  
Холодный ветер веял с гор,  
Дрожала ветвь, в окно стучала,  
Прозя приюта у людей,  
Храня побегу молодые,  
Как мать, родящая впервые...  
А ветер дул, гонясь за ней...  
На западе, сквозь дымку тьмы,  
Тускнея, медь еще сияла  
И хладным светом обливала  
Чужие, черные холмы...  
И с холодом в душе пустынной  
Смотрел я: неподвижен Квор...  
Тянулся молча вечер длинный,  
В Ниссон переходил Адор...  
Со всеми, кто ушел в скитанье,  
Бреду и я в чужой простор.  
Луна, бледнея, льет сиянье  
На спящий мир, на тихий Квор...  
Под круглой, мертвенной луной  
Белеет чайка без движенья,  
И два крыла в оцепененьи  
Мерцают мертвой белизной.

Труп чайки по реке плывет!  
Навеки! Не сверкнут зарницы,  
Волна, запенясь, не плеснет!  
Навеки!.. Я смотрю вперед:  
Белея, по реке плывет  
Лишь чайки труп, труп легкой птицы!  
Со всеми, кто ушел в скитанье,  
Бреду и я в чужой простор,—  
И без конца, без упования  
Твой вечный берег длится, Квор!  
Безжизненно, беззвучно годы  
Проходят, быстро дни летят,—  
По гравию не шелестят  
Твои медлительные воды...  
А сверху белая луна,  
Не падая, не подымаясь,  
Висит. Давно мертва она.  
И вдруг я понял, содрогаясь:  
Мы все мертвы! Здесь нет живого!  
Куда идем и для чего?  
Довольно звука одного,  
Довольно оклика ночного—  
И все исчезнет от него,  
Растает, как ночная мара...  
Но тщетно я кричать хотел:  
Мой голос умер... Я смотрел:  
Там мертвецы, за парой пара,  
Идут, идут... И черный Квор  
Не зыблется меж черных гор.



## АВРААМ БЕН ИЦХАК.

### ЭЛУЛ В АЛЛЕЕ 1).

Свет воздушный,  
Свет прозрачный  
Пал к моим стопам.

Тени мягко,  
Тени томно  
Льнут к сырým тропам.

В обнаженных  
Ветках ветер  
Протрубил  
В свой рог...

Лист последний,  
Покружившись,  
На дорожку  
Лег.

## ПРИМЪЧАНІЯ.

### С. ЧЕРНИХОВСКИЙ. Завет Авраама.

1) Газета на древне-еврейском языке.

2) Могель—лицо, совершающее акт обрезания.

3) День, поковой в истории еврейства. 9-го Ава совершился над ним ряд бедствий. Здесь имеется в виду последнее из них: взятие Иерусалима римлянами, в 70 г. нашей эры. Когда римляне, разбив войска иерусалимских повстанцев, подходили к городу, в нем начались партийные распри. Умеренные склонялись к переговорам с победителями, но были свергнуты непримиримой партией zelотов, продолжавшей оборону, уже, впрочем, безнадежную.

4) В 1897 г. состоялся в Базеле первый конгресс деятелей политического сионизма, т. е. движения, направленного к национальному возрождению еврейства в Палестине. Около того же времени началась деятельная сионистская агитация, выражавшаяся как в пропаганде сионистских идей, так и в попытках заселить Палестину еврейскими земледельцами, ремесленниками и промышленниками.

5) Псевдоним У. И. Гинцберга, еврейского писателя, пользующегося большим авторитетом. Выступая противником политического сионизма, как течения, казавшегося ему преждевременным, Ахад-Гаам тем не менее горячо призывал к духовному возрождению и объединению нации.

6) Реб Лейб с обязанностями резника (лица, уполномоченного общиной убивать животных, пре назначающихся для пищи) соединяет обязанности кантора, т. е. певца в синагоге.

7) Моисей Монтефиоре (1784—1885) еврейский филантроп, много потрудившийся для облегчения правового и имущественного положения евреев в Англии, России и Палестине. Барон Мориц Гирш (1831—1896) знаменитый богач и благотворитель.

8) Сандок—лицо, на руках у которого находится ребенок во время обрезания. Быть сандоком очень почетно.

9) Кватэр и кватэрин—кум и кума. Кватэрин, взяв ребенка в комнату, передает его кватэру, а тот в свою очередь сандоку.

10) Шехина—одно из имен Бога; оно может быть истолковано как словесное выражение отношения Бога к миру и Израилю и означать пребывание Бога среди народа, Его вездесущность, благоволение и т. д. Иногда, впрочем, Шехина рассматривается как самостоятельное существо, стоящее между Богом и миром, как начало связующее и предстательствующее.



11) Вино из виноградников, возделанных еврейскими колонистами в Палестине.

12) Начало еврейской колонизации Палестины, несмотря на громадные суммы, предоставленные Ротшильдом и Гиршем, было весьма нсудачно. Многие колонисты погибли жертвою турецких преследований, нищеты, голода, болезней и проч.

13) Игра слов. В Библии (Быт. 22, 15) сказано: «И вторично воззвал к Аврааму ангел...» Вторично по древне-еврейски «шейнис». Но в Литве есть женское имя Шейне, от которого прилагательное притяжательное—«шейнис». В Польше это же имя произносится Шейнда, а прилагательное—«шейндас». Острота меламеда в том, что библейское наречие он рассматривает как современное прилагательное, которое и оказывается произнесенным с л и т о в с к и м выговором. Из этого он, шутя, заключает, что Авраам был «литвак», а не «поляк», иначе бы ангел, обращаясь к нему, сказал на польский лад: «шейндас».

14) Кожаные коробочки, со священными текстами внутри, снабженные ремнями и возлагаемые во время молитвы на лоб и левую руку. «Две пары» тфилин—шутливый намек на ханжество.

15) Речь идет о легенде, читаемой за вечерней трапезой в первые две ночи праздника Пасхи. Содержание легенды вкратце таково: хозяин купил козочку, но кошка ее съела. За это собака съела кошку, но палка убила собаку, огонь пожрал палку, вода залила огонь, бык выпил воду, резник зарезал быка, Ангел смерти зарезал резника, а Господь—Ангела смерти, ибо каждый из них, начиная с собаки, был прав в своем суде, но самое право суда принадлежало не им.

## С. ЧЕРНИХОВСКИЙ.—В знойный день.

1) Тамуз—название месяца соответствующего приблизительно нашему июлю.

2) Реб—сокращенное «равви»: учитель, господин.

3) Молитвенник.

4) Народная школа, где обучают древне-еврейскому языку и закону веры.

5) Десять человек, число, необходимое для совершения публичного богослужения.

6) Послеполуденная молитва.

7) Предметы символического значения, употреблявшиеся при богослужении. Белвелэ думал, что это название каких-то местностей.

8) Учитель в хедере.

9) Хай векайом—живущий и существующий,—одно из определений Бога. «Ступай и кричи хай векайом»—народное выражение: ступай и кричи караул.

10) Мешулох — посланец. Уполномоченный сборщик для палестинск. учреждений.

11) Празднество, устраиваемое ежегодно в Мироне, в Галилее, на могиле талмудического ученого равви Симона бар-Иохан.

### **С. ЧЕРНИХОВСКИЙ. Вареники.**

- 1) Молитвенники для женщин.
- 2) Светская, недозволенная книга.

### **З. ШНЕУР. Под звуки мандолины.**

Вся поэма обращена к итальянской уличной певице, отдаленные предки которой, римляне, положили конец существованию еврейского государства.

1) О зелотах см. прим. 3 к Идилии «Завет Авраама». Симон бар Жиора— один из вождей зелотов, взятый в плен и казненный в Риме. Иоханан бен Заккай, один из высших ревнителей веры и государственности, был тайно выведен из Иерусалима во время осады. Впоследствии он основал школу в гор. Ямнии, ставшем местопребыванием синедриона и центром иудаизма.

2) Голус—рассеяние, расселение еврейства по другим странам (диаспора).

### **Д. ШИМОНОВИЧ. На реке Квор.**

- 1) Адор—март, Ниссон—апрель (приблизительно).

### **АВРААМ БЕН ИЦХАК. Элул в аллее.**

- 1) Элул—сентябрь (приблизительно).



## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА. . . . .	5
Х. Н. БЯЛИК.	
Предводителю хора . . . . .	7
Д. ФРИШМАН.	
Ночью . . . . .	10
Для Мессии . . . . .	11
С. ЧЕРНИХОВСКИЙ.	
Завет Авраама . . . . .	16
В знойный день . . . . .	31
Вареники . . . . .	39
Песнь Астарты и Белу . . . . .	47
Смерть Тамуза . . . . .	50
Лесные чары . . . . .	53
Я. ФИХМАН.	
Хожу я к тебе . . . . .	56
Моя страна. . . . .	57
З. ШНЕУР.	
Под звуки мандолины. . . . .	59
Д. ШИМОНОВИЧ.	
Последний самарянин. . . . .	68
На реке Квор. . . . .	70
АВРААМ БЕН ИЦХАК.	
Элул в аллее . . . . .	72
ПРИМЕЧАНИЯ. . . . .	73

---